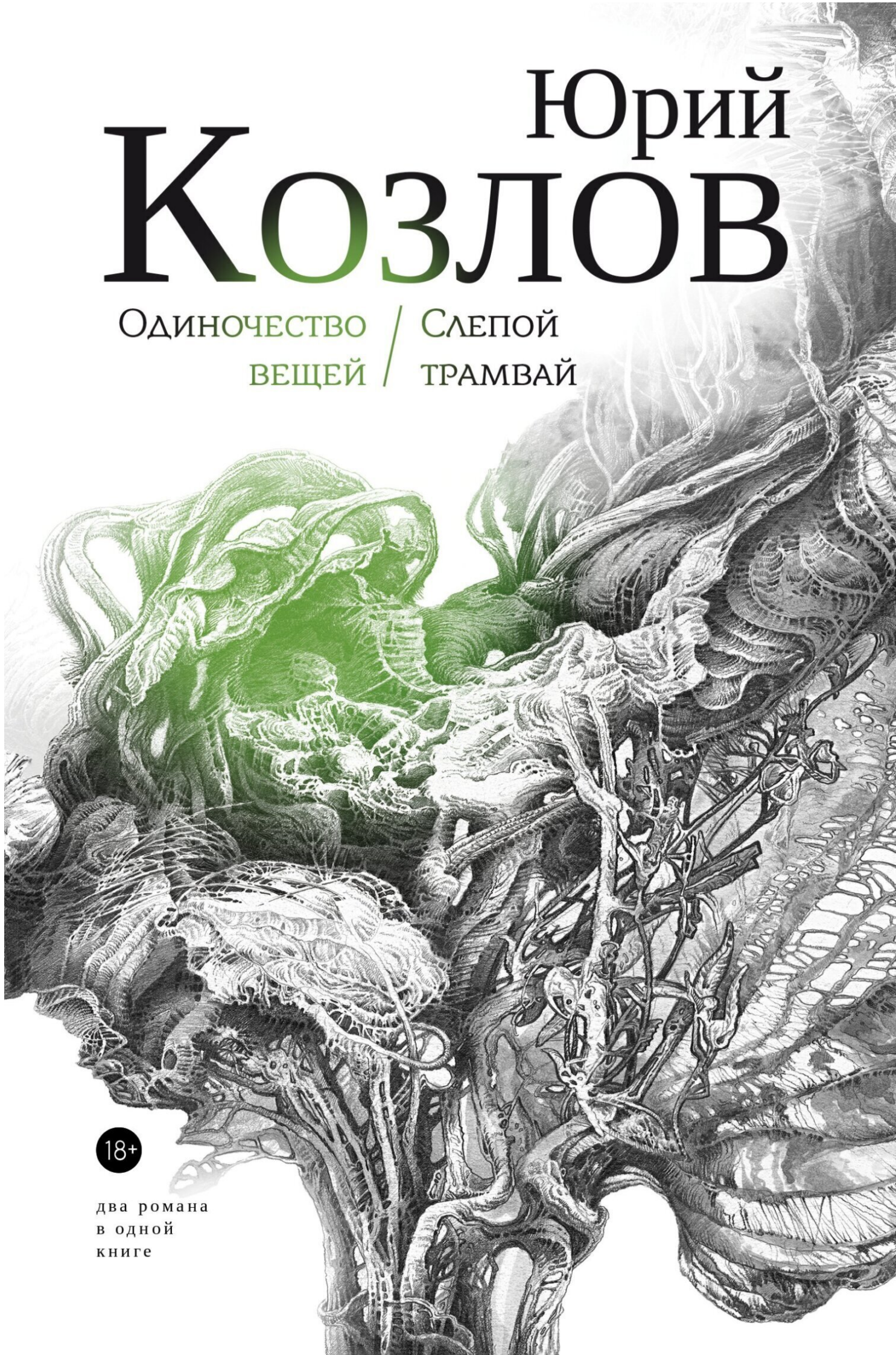


Юрий КОЗЛОВ

ОДИНОЧЕСТВО / СЛЕПОЙ
ВЕЩЕЙ / ТРАМВАЙ

18+

два романа
в одной
книге



Юрий Козлов

**Одиночество вещей.
Слепой трамвай. Том 1.**

Арт-Холдинг «Медиарост»

2023

УДК 82-31
ББК 84(2)-44

Козлов Ю. В.

Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1. / Ю. В. Козлов —
Арт-Холдинг «Медиарост», 2023

ISBN 978-5-6048618-5-1

Первый том настоящего издания объединяет два произведения Юрия Козлова: уже хорошо известное читателям и новое, недавно оконченное. «Одиночество вещей» – роман, где мистика, политика и философия сплетаются в причудливую и захватывающую ткань повествования, уводящую читателя в коллективное бессознательное эпохи девяностых годов, когда рушилась страна и судьбы людей. В хозяйстве российского фермера трудятся ожившие «классики марксизма», а само «бессмертное учение» завершает жизнь в одном из московских гаражей. «Слепой трамвай» – аллегория движущейся по непредсказуемому маршруту человеческой цивилизации. Возможно, к катастрофе. Но героиня романа – женщина, поднимающаяся на новую ступень антропологического развития, – верит, что у людей, несмотря на все их грехи и отступления от добродетели, остается шанс на жизнь и счастье в новом мире.

УДК 82-31
ББК 84(2)-44

ISBN 978-5-6048618-5-1

© Козлов Ю. В., 2023
© Арт-Холдинг «Медиарост», 2023

Содержание

Одиночество вещей	6
Часть первая	6
Часть вторая	56
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Юрий Вильямович Козлов

Одиночество вещей. Слепой трамвай

© Козлов Ю. В., 2023

© ООО «Арт-холдинг “Медиарост”», 2023

Одиночество вещей

Часть первая Война гороскопов

Леон перелистывал Философский энциклопедический словарь, невообразимой толщины книгу, в которой не было философии, когда услышал, что дядя Петя, младший брат отца, последовательно изгнанный из семьи, из квартиры, из партии, с работы (не одной), алкаш, только-только вырвавшийся после трехлетних страданий из ЛТП, заделался фермером-арендатором в деревне Зайцы Куньинского района Псковской области.

Это явствовало из полученного от дяди Пети письма, которое в данный момент читала на кухне вслух мать.

Отец был совершенно равнодушен к судьбе младшего брата. Письмо из неведомых Зайцев несколько дней приглашающе лежало на холодильнике, однако отец не удосужился его распечатать. «Гляди-ка ты, – только и сказал он, – почта еще функционирует». В последнее время отец перестал проявлять интерес к получаемым письмам, равно как и снимать трубку звонящего телефона. Нераспечатанные письма он, на манер Фолкнера, складывал в стол. К нюнящему телефону подходил, когда тот переставал звонить.

Мать, естественно, знала про внезапную и странную отцовскую нелюбовь к новостям – политическим и семейным, из которых, собственно, состояла жизнь. Но полагала, что все должно иметь свой предел. Не распечатывать письмо от хоть и неудалого, но все же родного брата было, по ее мнению, запределом. Поэтому она читала письмо вслух.

Как и следовало ожидать, оно заканчивалось просьбой выслать в долг пятьсот рублей, которые дядя Петя обещал вернуть в начале лета, как только получит от правительства ссуду, а еще вернее – осенью, когда рассчитается за произведенную сельхозпродукцию и будет при немалых деньгах. Подобное уточнение, видимо, должно было подчеркнуть искренность и основательность арендно-фермерских намерений дяди Пети.

«Он что, охренел там в этих Зайцах? – удивился отец. – Какую ссуду? От какого правительства?» – «От нашего, советского, а может, российского правительства, – ответила мать. – Он не уточняет. Петя молодец. Лучше поднимать сельское хозяйство, чем пьянствовать да судиться с райкомом из-за взносов». – «Поднимать? – усмехнулся отец. – А кто, интересно, его положил?» – «Как кто? – сказала мать. – Наше советское, а может, российское правительство. Или оба вместе». – «А теперь, стало быть, советское и российское правительства передумали? От кого этот дурак ждет ссуду? Какие пятьсот рублей? Он их тут же пропьет!» – «И все равно, – упорствовала мать, – он молодец. Хоть на что-то решился. Будет, как Кандид, возделывать свой сад». – «Вероятно, – неожиданно легко, если не сказать равнодушно согласился отец. – Всякое неначатое дело таит в себе совершенство. Вот и летят, как бабочки на лампу. А как начнут – сплошное разочарование, обожженные крылья».

Леон вспомнил, чем закончилась давняя дяди Петина попытка отсудить у исключившего его из рядов КПСС райкома уплаченные за восемнадцать, что ли, лет пребывания в партии членские взносы. Жестоким обследованием в психдиспансере, где дядю Петю пытали разрывающими суставы инъекциями и электрошоком, от которого мозги в голове, если верить дяде Пете (а как тут ему не верить?), превращались в трясущееся в горшке говно, трехлетним лечением в ЛТП в Пермской области на лесоповале.

Леон чуть было не спросил у отца: неужто же и дело со взносами тайло до своего начала совершенство? И если да, в чем оно заключалось?

Но не спросил. Отец, принимая во внимание возраст Леона, вряд ли бы ответил искренне. «Конечно же, таило, – так бы ответил отец. – Дядя Петя, к примеру, мог принести в портфеле в здание райкома бомбу и взорвать его к чертовой матери. А он затеял глупую судебную тяжбу и все испортил».

Да и не очень-то интересовал Леона дядя Петя, последний раз появлявшийся у них в Москве как раз три года назад – перед ЛТП, когда Леон ходил в пятый класс. Дядя Петя запомнился тихим, трезвым и бесконечно грустным. Как-то не верилось в громовые его запои, когда он с топором в руках и с пеной на губах гонял жену и детей, крушил мебель, разбивал к чертовой матери раковины и унитазаы.

За два дня, проведенные у них, дядя Петя починил все вышедшие из строя электроприборы, включая такой сложный, как вязальная машина, намертво прикрепил к стенке стеллаж с тяжелыми книгами.

Стеллаж уже несколько лет, подобно гигантскому утыгу, угрожающе нависал над отцовской головой, когда тот садился за письменный стол работать.

На стеллаже располагались собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма: коричневые Маркс и Энгельс, синий Ленин, под самым потолком – вишневым неприметный Сталин. Книгами идущих вослед практиков и теоретиков недавно еще всепобеждающего и единственно верного, а нынче никого и ничего не побеждающего и единственно неверного учения отец отчего-то брезговал, не помещал их в опасно гуляющий над головой утыг-стеллаж. Глянцевые томики и брошюры несерьезных, как западные триллеры, расцветок, вероятно, могли, по мнению отца, внести диссонанс в монолит учения, смотрелись бы на стеллаже как сорные васильки и лютики, а случись возврат к суровым временам – как куриная слепота! – посреди единообразного, но почему-то (понятно почему!) непрополотого литого свинцового поля. Им и было место на непрестижных полках в кладовке в неорганизованной компании прочих печатных сорняков-однодневок: газет, журналов, еженедельников, старых и многочисленных новых, нечетко или излишне четко отпечатанных на толстой или тонкой, желтой или белой бумаге. Воистину, за сорняками было не разглядеть злаков. Предстояло собрать урожай не свинцовых, как обычно, зерен, но плевел.

Кладовка была неиссякающим источником макулатуры. Леон едва успевал увязывать в пачки, обменивать на талоны, приобретать на эти талоны то «Железную маску», то «Анжелику» да тут же в магазине и уступать желающим по рыночной цене. Однако уже было объявлено о предстоящем многократном удорожании периодики и книг. Вряд ли на следующий год родители смогут вольно выписывать в дом, вольно покупать в киосках. Источник, следовательно, иссякнет, пересохнет, как – рано или поздно – любой источник.

Что-то беспокоящее заключалось в том, что хоть и пустыньские, но живенькие издания увязывались в пачки, исчезали в макулатурных подвалах, в то время как свинцовые тома основоположников хоть и кренились, но оставались в стеллаже. И одновременно лживым было беспокойство, так как не кто иной, как Леон, самолично относил пачки в макулатурный подвал. Он утешал себя тем, что, будь его воля, он бы в первую голову отнес туда свинцовые тома. Что не следует пугающе усложнять, городить на пустом месте. Что это, в сущности, естественный круговорот бумаги в обществе: одна уходит из дома, превращается в другую – частично в картон, частично в деньги в кармане Леона, третья же остается в стеллаже. А что уходит хоть и сорная, но живая, остается же радиоактивная и мертвая, то только так в жизни и бывает. Жизнь склонна к застывшим, калечащим все живое формам. Это закон.

И этот закон не нравился Леону.

Каждый раз, входя в отцовский кабинет, Леон вонзал недоумевающий взгляд в пронизывающие время, подобно игле мешковину, переплеты. Они как будто были вечны, как будто были не книги, как будто существовали не для того, чтобы их читали. Сталин пятидесятого

года издания выглядел несравнимо новее только что купленного, но уже гнуто-обложечного, газетно-раздувшегося, серого, как борода, Бердяева.

Оттого-то и само учение виделось Леону в цвете этих самых угнездившихся над головой отца томов: коричневым, темно-синим и вишневым. Он даже вывел цветовой код развития учения, так сказать, спектральный его анализ: от коричневого (дерьма) через темно-синий (синяк) к вишневому (кровоподтеку). На вишневом учение временно приостановило развитие, стабилизировалось и закрепились, воинственно отторгая все, что не дерьмо, не удар, не кровь. Кто-то, правда, сказал Леону, что существуют черные тома собрания сочинений Пол Пота. Но их, наверно, не успели перевести на русский. А может, перевести успели, да не успели издать. Иначе бы они непременно были у отца. Как, к примеру, фиолетовые тома Мао Цзэдуна. Черный гробовой цвет мог достойно увенчать учение, да только мелковат в масштабах планеты оказался Пол Пот. Он был всего лишь предтечей настоящего завершителя учения, о скором приходе которого возвестил, но чье время еще не настало.

Отца не обрадовало, что дядя Петя укрепил стеллаж. «Ну вот, – помнится, вздохнул он, – теперь мне не умереть красиво. Я бы мог стать святым мучеником во славу марксизма, а ты, – ткнул он пальцем в дядю Петю, – все испортил». Леон хотел было возразить, что чего-чего, а мучеников во славу марксизма было предостаточно, но подумал, что отец имеет в виду иное, не безвинное и, следовательно, не святое, а сознательное и, следовательно, святое мученичество. Безвинное мученичество не в счет. Это воздух марксизма. Когда немарксисты перестают безвинно мучиться, задышающимся марксистам являются странные мысли о падающих на голову стеллажах.

Узнав, что дядя Петя решил податься в фермеры-арендаторы, вспомнив, что у него золотые руки, что трезвый он работает как заведенный, Леон подумал, что, укрепив над головой отца первый, дядя Петя вознамерился укрепить – уже над головой страны – второй стеллаж. Кормить страну, предварительно не очистив ее от налипшего коричневого дерьма, не утишив примочками чудовищных синяков, не подсушив мокнувших под вишневой коркой ран, – было все равно что кормить странного, вечно голодного больного, который чем ему хуже, тем ненасытнее до жратвы и воровства, тем злее ненавидит того, кто его кормит, тем изощреннее ему вредит, мешает себя кормить. То есть дядя Петя собирался укреплять не больного, но болезнь, играть по правилам, которые безумный больной установил для себя и для врачей, а это означало не излечение, но продление голодного сумасшествия. Съедено-то все будет со свистом, да что толку? Дядя Петя думал (если думал), что вступает на дорогу милосердного сельскохозяйственного труда, тогда как в действительности то была дорога продолжения страданий.

Леон перелистывал Философский энциклопедический словарь и как бы ощущал лицом мертвящий, с запахом дерьма ветер, сквозящий сквозь стены от литого стеллажа в кабинете отца к его столу, на котором лежал этот самый Философский энциклопедический словарь. Мертвый ветер каждую страницу припорашивал смесью коричневого, синего, вишневого, что давало в смешении цветов однозначную серость, в смешении же качеств – дерьмо, поскольку дерьмо имеет тенденцию преобладать в соревновании качеств. Только над смертью – нет. Черный полпотовский цвет посильнее серого марксистского.

Леон почему-то читал про Пифагора.

Ему казалось, марксистский ветер не прошьется сквозь тысячелетия до чистой эгейской сини, белого аттического солнца, мраморных колонн, черно-зеленых оливковых рощ и виноградников, горных пастбищ, свободных людей, с удовольствием владевших рабами. Но он был тут как тут, костлявой Хароновой рукой хватающий Пифагора за хитон, ошеломляющим порывом, как птицу в печную трубу, вгоняющий его учение в десять пар онтологических принципов: предел – беспредельное, нечет – чет, одно – множество, право – лево, мужское – женское, покоящееся – движущееся, прямое – кривое, свет – тьма, добро – зло, квадрат – прямоугольник.

Тем самым превращая его в абсурд, так как пары онтологических принципов можно было выстраивать бесконечно: вода – вино, мир – война, любовь – ненависть, трусость – храбрость, правда – ложь и так далее. Пока не надоест. Тем самым выдавая произвольно выбранные внутри вечной бесконечности Пифагором вехи – он сыпал их, как корм птицам, – за конечные пограничные столбы на территории античного познания, за которыми будто бы пустота несовершенства. Как и за всем, что не есть научный коммунизм. Марксистский ветер весьма тяготел к конечности, так называемой эсхатологичности, к пограничным столбам на территориях любого познания, запретным зонам, желательно под шлагбаумами, а еще лучше – под колючей проволокой с пропущенным током.

Но Леон, хоть его родители и были преподавателями научного коммунизма, учеными-марксистами, мать кандидатом, отец доктором философских наук, доподлинно знал, что если что в мире и конечно, так это прежде всего сам научный коммунизм. Конечен именно в силу своих посягательств на бесконечность. Конечно все. Но что посягает на вечность – вдвойне и быстрее. Он бы мог утвердиться в конечном мире: в термитнике, улье, осином гнезде или муравейнике. Но в том-то и беда (для коммунизма) и счастье (для жизни), что мир бесконечен. Вот только что там – за концом коммунизма? Впрямь ли счастье?

С некоторых пор Леон сомневался.

Ведь каждому ясно, что между пределом и беспредельным во всем своем многообразии помещается сущее, между четом и нечетом бесчисленное множество дробей, между право и лево прямо, между мужчиной и женщиной гермафродит, между покоящимся и движущимся трогающееся с места, между прямым и кривым спиральное, между светом и тьмой знаменитое сфумато Леонардо да Винчи, между добром и злом исполнение приказа, между квадратом и прямоугольником параллелограмм. Так же как между водой и вином пиво (применительно к нашей действительности – бражка), между миром и войной прозябание (применительно к нашей действительности – застой, стремительно развивающийся от относительного благополучия к чистой нищете), между правдой и ложью полуправда и полуложь, между трусостью и храбростью ничтожество. Так же как пауза между словом и молчанием. Как одичание, голод, хаос и хамство между научным коммунизмом и естественными формами человеческого существования, между обществом коммунистическим и посткоммунистическим. Как что-то тягостно-тревожное, неизвестное человеку, между жизнью и смертью. Вот этого неподдающегося осмыслению провала и боялся Леон. Ибо в нем, как и в прочих пифагоровых онтологических принципах, заключалась бесконечность. Но не та, которую хотелось приветствовать после необъяснимого (с чего бы?) самоуничтожения коммунизма. Да, Пифагор, если отвлечься от того, что он владел рабами, являлся последовательным античным антикоммунистом. Как подавляющее большинство живущих до и после него здравомыслящих людей. Однако зло, вносимое в мир коммунизмом, было совершенно непропорционально количеству коммунистов в мире. В этом заключалась первая тайна. Вторая – в том, что самоуничтожиться коммунизм мог только... во имя еще большего зла. И третья – что высказать вслух эту самую антикоммунистическую из всех антикоммунистических мыслей – означало навлечь на себя славу... коммуниста.

Так казалось Леону, перелистывающему от скуки Философский энциклопедический словарь.

Иногда его томило это: Леон.

Какими же придурками надо быть, злился он, что при фамилии Леонтьев назвать сына Леонидом! Как ни дергайся, с таким именем, такой фамилией «Леон» неизбежен.

Мать, отец и, естественно, сам Леон были русскими.

Но кроме того, что мать и отец были русскими, они были преподавателями научного коммунизма, коммунистами и, следовательно, интернационалистами. Их не могла смутить такая мелочь, как Леон, равно как: Рафик, Гюнтер, Хасан, Василь или Абдужапар.

Леон задавался вопросом, кто они больше: русские или интернационалисты? Родительский интернационализм представлялся ему в цветах и запахах обложек основоположников.

Это отбивало охоту искать ответ, так как он был очевиден и это был не тот ответ, которого хотелось.

Отец и мать до недавнего времени частенько выступали в печати со статьями, написанными порознь и совместно, в соавторстве. Леон обратил внимание, что когда совместно, то было меньше страха перед абсурдом, больше какого-то победительного презрения к позору. Последним совместным родительским трудом была книга о новой общности людей – советском народе, истинными представителями которого отец и мать, вероятно, себя считали.

Сейчас новая общность предстала никогда не бывшей. В некорыстное существование бывших советских интернационалистов, а ныне самых что ни на есть националистов никто не верил. Лишь русским интернационалистам эта метаморфоза, как, впрочем, и любая другая метаморфоза, не далась. Сделаться одними только русскими родителям было странно, непривычно и... мелко. Отец и мать остались коммунистами, говорящими на русском языке, до поры помалкивающими об интернационализме, то есть самыми жалкими и ничтожными из всех возможных разновидностей коммунистов.

В новой несуществующей общности – советском народе – с кличкой «Леон» было не затеряться.

Косились незнакомые. Знакомые, те, с кем вместе рос, переходил из класса в класс, тоже начинали коситься.

– Когда в Израиль, Леон? – вдруг громко спросил у него в школьном туалете, разогнав рукой клубы сигаретного дыма, Коля Фомин – здоровый, похожий на белого медведя малый.

– Сдурел, Фома? – опешил Леон. – Зачем мне в Израиль?

Идиотский вопрос был тем более обиден, что Леон и Фомин считались друзьями. Выходило, Фомин полагал пространство их приятельства достаточно разреженным, чтобы помещать туда подобные вопросы. Что могло свидетельствовать о двух вещах: либо он еще больший кретин, чем считал Леон, либо отныне Леону не приятель.

– Так ты ж еврей, – просто объяснил Фомин.

– Я еврей? – Леон почувствовал внезапную слабость, всегда настигающую его, когда требовалось быстро и дерзко (чтобы закрыть тему) оправдаться в непредсказуемом. Скажем, что он парень, а не девчонка, что не шарит вечерами по помойкам, не душит в подвалах кошек, не нюхает, вставив голову в полиэтиленовый мешок, клей «Момент», не ходит в учительскую стучать на одноклассников. – Почему это я еврей? – жалко уточнил он. Попытался уверить себя, что Фомин странненько так пошутил. Ну какой он, в самом деле, еврей, с отцом по имени Иван и с матерью по имени Мария? Но по вдруг установившейся в туалете тишине понял, что шуткой происходящее кажется одному ему.

– Почему? – долго, как белый медведь на ускользающего со льдины тюленя, смотрел на него Фомин. – Потому что Леон – еврейское имя, понял!

– Это вы зовете меня Леоном! – разозлился Леон. – Настоящее мое имя Леонид, а фамилия Леонтьев!

– Да? – недоверчиво переспросил Фомин, и Леон подумал, что человеческие глупость и подлость бесконечны, как Вселенная.

Самое удивительное, что, утверждая очевидное, а именно, что он не еврей, доподлинно зная, что он не еврей, Леон вдруг испытал смутное мимолетное сомнение, непонятный испуг, как если бы его застукали... за чем? За тем, что он мог бы родиться евреем?

Твердый плиточный пол туалета на мгновение обнаружил зыбкость, ушел из-под ног. Леон подумал, что нет ничего проще, чем превратить нормального человека в оправдывающегося (в чем? в собственном существовании?) ублюдка. Можно даже не слушать, как он ответит на вопрос. Достаточно задать сам специфический вопрос, который, как черная дыра во Вселенной, готов проглотить любой возможный ответ, а на самом деле, конечно, не ответ, а ответчика. Жизнь в моменты подобных вопросов и ответов перемещается из привычного – трехмерного – пространства в поначалу непривычное – иррациональное. Внутри него кое-какие русские вполне могут оказаться евреями, а кое-какие евреи, скажем, американцами или испанцами. Внутри него, как в Зазеркалье, возможны самые удивительные и шокирующие превращения и сочетания. Леону сделалось тревожно, так как он знал, что лучше бы людям не задавать такие вопросы и не отвечать на них, не прояснять собственную сущность. Потому что она слишком часто ущербна. Как, впрочем, знал и то, что условия, при которых люди оказываются вынужденными прояснять собственную сущность, возникают помимо воли самих людей. Вопрос Фомина свидетельствовал, что условия на подходе. Или – что у Леона разыгралось воображение.

– Чем занимаются твои родители, Леон? – вдруг заинтересовался десятиклассник по фамилии Плаксидин, известный в школе как Эпоксид.

Леон и не заметил Эпоксида. А тот не только внимательнейшим образом выслушал разговор, но зачем-то полез в яркий глянцевого рюкзака.

Леон знал зачем.

Эпоксид был светловолос, сероглаз, бицепсам его было тесно в узких коротких рукавах модной рубашки. Они были отлиты из отвердевшей эпоксидной смолы, его бицепсы. Сам же он был тянуще гибкий, как еще не успевшая отвердеть смола. Он был похож на спартанского юношу-эфеба.

Эпоксид подрабатывал в спортивном кооперативе «Бородино», вел там по вечерам секцию карате. Проходя мимо, Леон наблюдал сквозь просвет в портьерах, как он орудует руками и ногами. Никому и в голову не могло прийти осведомиться у Эпоксида, еврей ли он.

Случалось Леону видеть, как Эпоксид в обществе привлекательных, однако явно старших по возрасту девушек (дам?) усаживался за руль машины марки «Ауди». Сам факт появления Эпоксида в школьном туалете (хоть он и учился в школе) был странен. Эпоксид был в школе редким гостем. Но даже если ему, что называется, приспичило в туалет, он, небрежно ходящий в кожаной куртке за пять, что ли, тысяч (Леон видел точно такую же в комиссионке), не должен был интересоваться, чем занимаются родители Леона. Какое его собачье дело? Их пути никак не могли пересечься. Родители доживали в старом, устало огрызающемся, сходящем на нет мире. Эпоксид наслаждался жизнью в новом, тоже огрызающемся, но с ликующим предощущением силы, как молодой кобель, мире.

– Насколько мне известно, они преподают философию, – ответил Леон и чуть не оглох, такой хохот раздался в туалете. Казалось, кафель со стены летит острыми осколками.

Эпоксид наконец извлек из рюкзака что хотел – учебник обществоведения.

– Философию? – серьезно уточнил он, раскрыл учебник. – Тут написано: авторы раздела «Научный коммунизм – высшее достижение человеческой мысли» И. и М. Леонтьевы. Это твои родители?

– И. – Иван, – пробормотал Леон. – М. – Мария. Если они евреи, значит, все русские евреи.

– Да бог с ними, с именами, – весело рассмеялся Эпоксид. – Собственно, мне плевать, кто они. Я только знаю, что такую мерзость, – брезгливо, как дохлую крысу за хвост, взял учебник за краешек бежевой с красными буквами обложки, – нормальные люди, не важно, евреи или русские, сочинить не могли! – бросил распахнувшийся на лету учебник в унитаз, расстегнул ширинку, стал на него мочиться.

Леон загипнотизированно следил за этим обыденным и недостойным, в сущности, внимания действием. Ему хотелось возразить, что просто нормальные люди, да, конечно, не могли, нормальные же коммунисты еще как могли, что, конечно, их можно за это ненавидеть, но можно и по-христиански пожалеть, ибо они не ведали, что творили, а если ведали, то все равно не ведали, раз подвели себя под такое. Но промолчал, так как возражать пришлось бы льющейся моче, возражать же льющейся моче словами еще хуже, чем совсем не возражать.

В туалете стояла тишина, нарушаемая единственным звуком – биением струи мочи в твердую обложку учебника обществоведения. Пока еще сухая обложка уверенно отражала струю, Леон подумал: не иначе как после пивного бара явился в школу проклятый Эпоксид. Наконец он закончил, и тут же на его место вскочил другой. Всем вдруг неудержимо захотелось по малой нужде, и непременно на распятый учебник обществоведения.

Леон стоял у окна и не знал, что делать. В бой? Так ведь забьют ногами, обмочат точно так же, как учебник. Именно этого они, крысино посверкивая глазками, и ожидали. Обидеться, уйти? За что? За обществоведение? Плевать он хотел на обществоведение! За родителей? Так ведь сами виноваты. Зачем сочиняли позорную главу? Но и вставать в очередь, чтобы помочиться на учебник, не хотелось. Леон не собирался ставить на себе крест вместе с обществоведением.

Он продолжал стоять у окна, как вбитый гвоздь.

Сквозь шум в ушах расслышал похабный медвежий рев Фомина: «Мужики, что мы все ссым да ссым, а ну-ка я...»

Звонок приостановил мучения Леона.

По дороге в класс он узнал, что выпускные экзамены по истории СССР и обществоведению отменены, равно как отменены сами предметы: история СССР и обществоведение.

Тогда Леон не ведал, каким образом отмена в школе предмета «обществоведение» может быть связана непосредственно с ним (он заканчивал восьмой, обществоведение начинали проходить в десятом), с тем, что дядя Петя сделался фермером-арендатором в деревне Зайцы Куньинского района Псковской области, попросил в письме в долг пятьсот рублей. Учебник обществоведения лежал в унитазе. Дядя Петя был далеко. Леон сидел в школе на уроке. Связь между всем этим мог распознать только провидец или сумасшедший.

Сидеть на уроке после происшедшего в туалете было тревожно. Незримая петля стягивалась вокруг Леона, готовясь захлестнуть. Внутри убывающего пространства петли, где неулетающим голубем бродил Леон, вязко сгущались: измышленное еврейство Леона, отмененное обществоведение, а также бесспорный факт, что родители Леона являлись авторами раздела «Научный коммунизм – высшее достижение человеческой мысли» в школьном учебнике этого самого отмененного обществоведения.

Казалось бы, всего несколько минут прошло после туалетных событий, а класс уже знал, все смотрели на Леона как на живой труп, и не сказать чтобы его радовала такая популярность.

Потому что Леон прекрасно знал, что будет дальше. До мордобоя, может, и не дойдет, но тупейших издевательств будет выше головы. Он будет крайним, пока что-то похожее или совсем непохожее не случится с кем-то другим, кто заступит на его место.

А тут и две записочки приспели. В одной: «Да здравствует коммунизм, Леон!» – и пятиконечная звезда Соломона. В другой: «Привет из Израиля, Леон!» – и шестиконечная звезда Давида.

Впору было волком завывать, броситься головой в унитаз.

В мгновения опасности Леон всегда мыслил ясно, как будто смотрел в прозрачную воду. Так и сейчас, рука сама вырвала из тетради лист, вывела дрожащим, трусливым почерком: «Хабло! Спаси меня!»

Леон знал, что спасти его может только Катя Хабло, сидящая в его ряду за предпоследним столом. Но не знал, захочет ли Катя его спасти. Как и не знал, дойдет ли до нее послание,

может, пространство внутри невидимой петли настолько сгустилось, что сквозь него нет ходу Леоновым запискам?

К счастью, еще не сгустилось.

Ход пока был.

Записка попала к Хабло.

Скосив глаза, Леон, как в кривом зеркале, увидел, что Катя прочитала записку, задумчиво посмотрела на из последних сил косящего, почти превратившегося в китайца Леона своими большими золотистыми, наводящими на мысли – если о меде, то несладком, если о солнечном свете, то негреющем, и еще почему-то об осях (хотя при чем тут осы?) – глазами.

Глаза Кати Хабло не выразили ни сочувствия, ни неприязни. Такова была странная особенность ее осиных глаз: светиться, мерцать в себе, ничего при этом не выражая, как ничего, к примеру, не выражает вода в глубоком колодце, пусть даже на нее упал солнечный луч. Леону доводилось подолгу смотреть в ее глаза, и каждый раз у него возникало чувство, что он смотрит во всевидящие и одновременно незрячие (в смысле улучшить его участь, обратить на него внимание) глаза (колодец) судьбы. Если, конечно, глазами (колодцем) судьбы могут быть глаза девчонки, его одноклассницы. Леон не знал наверняка, могут или не могут, но совершенно точно знал, что может быть все что угодно.

Катя Хабло пришла в их класс два года назад.

Среди урока (Леон уже не помнил какого) завуч ввела ее за руку в аудиторию, сказала: «Эту милую девочку зовут Катя. Она будет учиться в вашем классе. Раньше Катя жила... Где ты жила?» – «В Марийской автономной республике, – ответила Катя голосом, как будто ручеек бежал по камням, – в деревне Мари Луговая». – «Мари Луговая? Какое необычное название, – удивилась завуч, преподававшая химию, пожилая, прокуренная, кашляющая. – Там что, луга?» – «Луга, луга, – подтвердила Катя ручейковым голосом, – луга и гуси, гуси и луга...» – «Как бы там ни было, теперь Катя живет в Москве, – вздохнула завуч. – Не обижайте ее. И вообще... никого не обижайте», – вышла из аудитории, оставив Катю у двери.

Учительница хмуро прошла взглядом по рядам. Они и так были удлинены, ряды столов, упирались в доску. Только в этом году в классе появились: Ануш Ананян и Гаяне Киселян из Баку, Сережа Колесов из Душанбе, Юля Панайоти из Сухуми, ожидающий визу в Америку Бахыт Жопобаев из захваченного ханом Ахметом Маргилана, Роман Бондарук из Чимкента. Теперь, стало быть, Катя Хабло из Мари Луговой.

Единственное свободное место было рядом с Леоном.

Он увлеченно изучал, замаскировав под учебником приобретенную на пути в школу в независимом киоске «Союзпечать» на Кутузовском проспекте книжечку под названием «Шестьсот позиций. Как извлечь максимальное удовольствие из полового акта». Издал книжечку кооператив «Турпакс» (Леон не знал, что означает это слово), стоила она десять рублей. От фотографий и рисунков рябило в глазах. У Леона закралось страшное подозрение, что начиная с четырехста шестой позиции повторяются. Во всяком случае, он не обнаружил никаких различий в позициях четырехста восемь и сто семнадцать, четырехста девять и двести семьдесят шесть. Налицо был явный обман. Леон так разозлился, что как-то перестал следить за происходящим в классе. Опомнился, когда Катю определили к нему на свободное место и она уже подкатывалась светлым ручейком, подлетала солнечной паутинкой. С перепугу Леону показалось, что она бестелесна, невесома, как порыв ветра, мерцающая радужная водяная пыль вокруг взлетающих фонтанных струй.

Радужный водяной ветер в мгновение очистил голову Леона от похабных (к тому же повторяющихся, теперь он в этом не сомневался) видений. Он вдруг осознал ничтожнейшую мерзость телесного в сравнении с... чем? Не с фонтанно-летающей же походкой направляющейся к столу девчонки? Это было бы смешно.

Но это было не смешно.

Леон не сильно огорчился, пережив очередное революционное изменение в сознании. Его сознание пребывало, как Европа, по мнению большевиков, в восемнадцатом году, в готовности к перманентной революции. Собственное сознание представлялось Леону калейдоскопической страной со смещенными в четвертое измерение очертаниями. Все, что как бы переставало там существовать в результате очистительных революционных изменений или, напротив, привносилось грязевыми революционными же селями, в действительности не исчезало и не утверждалось, а до поры затаивалось в очертаниях, как театральный герой за кулисами, когда время выхода на сцену еще не подошло. Так и шестьсот позиций, определенно начавшие повторяться с четырехста шестой, были тут, и одновременно их не было. Наверное, это и называлось обыденной жизнью сознания. В любом случае обыденная жизнь была далека от совершенства.

– Катя, – раскрыла журнал учительница, – как твоя фамилия?

– Хабло, – ответила Катя. То, как она мелодично пропела это «Хабло», находилось в очевидном противоречии с неблагозвучием самой фамилии «Хабло».

В классе засмеялись.

«На чужой каравай хабло не разевай, Леон!», «Хелло, Хабло!», «Заткни хабло!», «Хабло... Хавало!» Фомин, естественно, выступил тупее всех.

– А у тебя, соседка, – вдруг услышал Леон по-прежнему мелодичный, но уже иной мелодии, как будто над водой звенели бритвочки, голос девчонки, – моя фамилия не вызывает желание пошутить?

Леон удивился, отчего именно ему вопрос, пожалуй, единственному в классе, кто промолчал.

– Замолчите! Сейчас же прекратите! – крикнула учительница.

Нехотя замолчали. Тогда ее еще слушали.

– Ни малейшего, – ответил Леон, судорожно пряча в портфель «Шестьсот позиций», так как девчонка попутно устремила на книжку любопытствующий взгляд. – Но я тебе не завидую.

Может, это только показалось Леону, но как-то уж очень натурально показалось: пара с крайне причудливой, можно даже сказать, акробатической позиции под номером триста семьдесят семь обрадованно разъединилась, после чего оба как в пропасть прыгнули, мелькнув безупречными фигурами, в темные глубины портфеля. Изумленный Леон пошарил в портфеле, но не обнаружил там ничего, кроме спрятанной книжечки, а также всего того, чему положено и не положено находиться в портфеле школьника.

– Почему ты мне не завидуешь? – не без надменности поинтересовалась девчонка.

– Как ты не понимаешь? – испытующе посмотрел на нее Леон. Вдруг и она видела микроскопических прелюбодеев? В глазах девчонки, однако, не было ничего, кроме летящих, как осы, золотистых искорок, и Леон не уяснил, видела она или не видела. – Как же ты не понимаешь, – задумчиво продолжил он, – что отныне и во веки веков, в этом классе по крайней мере, ты – Хабло, Хабло, Хабло! – выговорил громко, с непонятным и злобным торжеством. – А еще Хлебло, Хавало, Хлебало, Хавно, – покосился на Рому Бондарука, – Хабала, Хэбэ, Ху..., – неизвестно сколько бы изощрялся Леон, если бы не трубный, архангеловый вопль учительницы:

– Леонтьев! Вон! Вон, дрянь паршивая! Сию же минуту вон!

– А б... – спохватился Леон, но было поздно. Что-то такое новоамериканское, жопобоевое, вроде «бияба-бать», слетело с уст. Определенно с появлением Кати Хабло из Мари Луговой, где луга и гуси, гуси и луга, начались странности.

Которых становилось чем дальше, тем больше.

Пока Леон угрюмо и на всякий случай обиженно убирал и портфель тетрадь и учебник, Хабло, она же Хлебло, Хавло, Хлебало, Хавно, Хабала, Хэбэ, Ху..., как наобещал ей Леон, вдруг шепнула ему:

– Через пять минут она тебя позовет. Будь у окна в коридоре!

Ага, подумал Леон, делать мне нечего, торчать у окна, ждать, чтобы она вернула меня в говенный класс! Обида (странный, если вдуматься), что учительница его выгнала, незаметно превратилась в победительное презрение ко всему на свете, но главным образом, конечно, к учительнице. Взглянув на нее независимо и пренебрежительно, с трудом сдержавшись, чтобы не засвистеть какой-нибудь популярный мотивчик, чтобы до нее, значит, дошло, что он думает о ней и о предмете, Леон развинченной походкой свободного человека вышел из класса в пустой коридор и... встал у окна.

Хотя совершенно не собирался.

До звонка на перемену было добрых полчаса, провести их у окна был полнейшим кретинизмом. Но подошвы словно прилепились к паркету. Леон стоял у окна, как велела Катя Хабло из Мари Луговой, ожидая, что учительница позовет его обратно в класс. С таким же успехом можно было ожидать, что с ним заговорит Владимир Ильич Ленин с картинок на застекленном стенде, рассказывающих, как он скрывался в Разливе.

На одной картинке Ленин писал, скрючившись на пенке. На другой беседовал с почти-тельно и некритически (как будто они уже знали про Великую Октябрьскую социалистическую революцию, но еще не знали про перестройку) внимавшими ему рабочими. На третьей Ильич задумчиво и лобасто смотрел в костер, над которым висел закопченный котелок, должно быть с ушницей.

Из картинок следовало, что Ленин был в Разливе один как перст, а между тем из домашнего разговора (отец и мать весь вечер с привлечением первоисточников и других печатных материалов обсуждали политическую ситуацию в России весной и летом семнадцатого года) Леон узнал, что с Лениным в Разливе был некто Зиновьев, блиставший на стенде своим отсутствием.

Фамилия показалась знакомой. Леон вспомнил добротную, подчеркнуто непритязательную, чтобы была как сама правда, изданную в тридцать каком-то году книгу протоколов допросов этого самого Зиновьева, Каменева и других людей, случайно попавшуюся ему на глаза, когда он снимал с полки в кладовке тяжеленный том Детской энциклопедии. Убить человека можно было этой энциклопедией. Леон не поленился, полистал, как не ленился листать большинство попадавшихся ему на глаза незнакомых книг. Так вот, на процессе Зиновьев сознавался, что совсем было решился в Разливе известить Ильича, подсыпать в котелок с ушницей яду, да побоялся, так как на следующий день в Разлив должен был приехать товарищ Сталин. Который бы, конечно, немедленно установил истину.

А недавно по телевизору диктор торжественно зачитал постановление какой-то комиссии, что ни в чем, мол, этот Зиновьев не виноват.

А вскоре на письменном столе у отца Леон обнаружил «Военно-политический журнал», в котором утверждалось, что Зиновьев очень даже виноват, что он самый настоящий палач, отправивший на смерть тысячи безвинных людей.

Разобраться в этом было не то чтобы трудно, но как-то не хотелось разбираться. Как будто тебя принимали за идиота и предлагали сыграть в игру для идиотов.

Вероятно, Зиновьев получил по заслугам. Но что его наказал Сталин, еще больший палач... Было в этом что-то обижающее справедливость. Сталин покарал Зиновьева, конечно же, не за то, что тот пролил невинную кровь. За иные, казавшиеся Сталину более важными, дела. Погубленные же – Зиновьевым, Сталиным, прочими – при этом в расчет не брались. Их смерть попросту не имела места быть ни когда Зиновьева приговаривали к расстрелу, ни когда реабилитировали. Их души, равно как прочие безвинные погибшие души, неприкаянно мая-

лись в астральном пространстве, бесконечно утяжеляя атмосферу, как замкнутое безысходное наваждение, насылая на живущих свинцовую, исступленную ярость. Нельзя было оставлять без ответа (как будто ничего особенного не случилось) такое количество безвинных душ. Леон наверняка не знал, имеют ли для них значение земные дела, но склонялся к тому, что имеют, – слишком уж тяжел, давящ был астрал над страной. То был не хрустальный чистый астрал, где поют ангелы, но дымный пыточный туман, где стенают страждущие. Однако никакого ответа не предвиделось. На земле шло бессмысленное схоластическое сопоставление палаческих точек зрения, в то время как терпение мертвых истощалось. Мертвые все сильнее ненавидели живых за то, что те не могли (или не хотели) осознать очевидные вещи. А если осознавали, то продолжали жить так, как будто это несущественно. Тем самым нанося мертвым смертельное (если можно так выразиться в отношении мертвых) оскорбление. Ибо им было невыносимо наблюдать сознательное (иначе не назовешь) вырождение живых. Что может быть оскорбительнее и нелепее – погибнуть во имя... вырождения грядущих поколений? О том, что произойдет, когда терпение мертвых окончательно истощится, думать не хотелось. Леон затылком ощущал хрупкость прогибающегося защитного воздушного слоя. Ему было странно, что все живут, как будто ничего этого нет.

Чем пристальнее смотрел Леон на картинки, тем сильнее хотелось снять ботинок да и разбить каблуком застекленный стенд.

Рука сама потянулась развязать шнурок, но в этот самый момент скрючившийся на пеньке Ильич зябко повел плечами (видимо, с Финского залива подул ветерок) и... дружески подмигнул Леону.

«Ты чего надумал, парень?»

«А разбить тебя...» – Леон решил не стесняться в выражениях, как не стеснялся в них сам Ильич.

«Вот как? – укоризненно посмотрел на него Ленин. – Как же тебе не совестно?»

«А почему мне должно быть совестно?» – удивился Неон.

«По многим причинам, – поправил сползающее с плеч пальтецо Ленин. – Ну, допустим, расколотишь меня. Так ведь и сам не останешься целеньким!»

«Не понял», – сказал Леон, как будто разговаривал со случайно наступившим ему на ногу младшеклассником.

«Все ваши нынешние беды, – снисходительно пояснил Ленин, – не оттого, что вы мне следуете, а что плохо следуете! Куда вам без меня? Пропадете! С этой дороги возврата нет! Да оставь ты в покое ботинок! Дурак, на кого замахиваешься? На отца! Вы все мои дети! Я в ваших сниськах, пьяной вашей кровишке; мыслишках и делишках. Я даже в имени твоём!»

«Врешь!» – Леон изо всех сил пытался ухватить шнурок, но он, проклятый, вдруг ожил, обнаружил свойство энергичного, с развитым инстинктом самосохранения червяка, ускользал и ускользал из деревенеющих пальцев.

Ленин, похоже, забавлялся, наблюдая за Леоном. Лишь мгновение они смотрели в глаза друг другу, но именно в это мгновение Леон обессилел, как медиум во время сеанса, не умом, но чем-то, что над и вне: генетической памятью об общенародном грехе, нынешней собственной нацеленностью на грех, массовым беспардонным атеизмом, ленью, злобным равнодушием, неумением любить и прощать, чем еще? – понял, что Ленин прав. Все они, и в первую очередь Леон, его детишки.

Какое-то похабное взаимопонимание вдруг установилось между ними, как между старым – в законе – авторитетом и юным, вдруг пожелавшим выскочить из дела воришкой, когда воришка только вскидывает наглые очи на пахана, а уже понимает, что из дела не выскочит, до смерти не выскочит.

«Ты не прав насчет имени, – превозмогая чудовищную усталость (как будто только что построил социализм), пробормотал Леон. – Меня зовут Леонид Леонтьев, при чем тут ты?»

«Узнаешь, – ласково сощурился Ильич, как, наверное, сощурился, произнося историческую фразу: “А сахар отдайте детям”. – Все узнаешь в свое время».

Леон наконец ухватил концы шнурков. И тут же выпустил, поднялся с колен.

Конечно же, никакого разговора с Лениным не было.

Он так глубоко и безысходно задумался, что забыл, почему и зачем в коридоре. Но тут дверь класса отворилась. Учительница приветливо поинтересовалась: «Ну что? Сделал выводы? – и, не дожидаясь ответа, сделал или не сделал, и если сделал, то какие именно: – Иди в класс, Леонтьев».

Леон вернулся в класс, уселся под одобрительный гомон за свой стол рядом с новенькой.

– Как там в коридоре? – шепотом спросила она.

– Да так как-то, – до Леона вдруг дошло, что учительница и впрямь позвала его в класс ровно через пять минут, как обещала Катя Хабло. – Так как-то. На Ленина смотрел.

– На Ленина? – удивилась Катя. – И что он?

– Нормально. У него все нормально, – Леон подумал, что говорит что-то не то. – Тебе все равно с такой фамилией не жить. Замучают.

– Спорим, нет? – усмехнулась Катя.

– Спорим, да!

– На что спорим?

– На что хочешь, – пожал плечами Леон. Уж он-то знал одноклассников.

– Скучно спорить, когда знаешь, что выиграешь, – вздохнула Катя. – Значит, если до конца дня кто-то обзовет меня...

– На перемене, – перебил Леон. – На ближайшей перемене.

Прозвенел звонок. Мимо них двинулись к выходу, но никто не крикнул: «Хабло!» Это было необъяснимо, но было так. Даже Фомин, устремившийся к их столу с мерзопакостнейшим выражением на лице, по мере приближения как-то переменял обещающее это выражение на растерянное, а приблизившись, долго и тупо, как белый медведь на всплывшую во льдах подводную лодку, смотрел на Леона и Катю, словно забыл, зачем шел.

– Ты это, – вдруг спросил у Леона, – алгебру сделал? – хотя никогда до сего дня не интересовался алгеброй и прекрасно знал, что Леон ее не сделал.

Леон понял, что перемену проиграл. Происходящее было столь же необъяснимым, как недавний разговор с Лениным. Но если разговор с вождем мирового пролетариата неизвестно происходил ли вообще, нынешнее необъяснимое происходило совершенно точно.

До конца дня еще три урока, подумал Леон, не может быть, чтобы за три-то урока никто.

И сам все забыл, как никогда не знал.

Вспомнил отчетливо до единого слова, когда зазвенел звонок с последнего урока.

– Значит, придется мне, – спохватился Леон, – мы не определяли, кто конкретно. – Слушай, ты! – замер с открытым ртом, как ворона, когда более проворная товарка что-то выхватывает у нее из клюва. – Ты... это, – он забыл, напрочь забыл ее фамилию. – Ты... – вытер вспотевший лоб. – Как там тебя?

– Да-да, – охотно поддержала разговор Катя. – Как там меня?

– Я проспорил, – Леон понял, что никогда, ни при каких обстоятельствах, даже за миллион рублей, даже в пыточном застенке не вспомнит ее фамилию. Не потому, что забыл, а потому, что никогда не знал. – Проспорил, – вздохнул Леон. – Только мы ведь спорили просто так. Ни на что?

Но ведь знал. И совсем недавно. Почему тогда помнит про спор?

Они уже вышли из школы. Шли по скверику к монотонно и уныло гудящему за деревьями проспекту.

– Где ты живешь? – спросил Леон.

– В красном уголке на раскладушке, – ответила Катя. – Я там тоже смотрю на Ленина. Скоро нам должны выделить служебную квартиру. Маму приняли в дворники, – она произнесла это равнодушно и с достоинством, как если бы не существовало разницы между принятием в дворники и в академики.

В сущности, так и есть, подумал Леон, она вполне может сделать так, что все будут считать ее маму академиком.

Пора было прощаться. Они стояли у входа в подъезд, где помещался этот самый красный уголок.

– Ах да, – спохватилась Катя.

– Хабло! Хлебло! Хавало! Хлебало! Хавно! Хабала! Хэбэ! Ху..., – заорал Леон, спугнув с газона стаю по какой-то причине не улетевших на юг скворцов. Затрещав костяными крыльями, скворцы перелетели на другой газон, попадали в траву.

– Хватит, – остановила Катя, – ты все равно проспорил. Можешь звать меня как хочешь, тебе я разрешаю. А остальные не будут.

– Как не будут? – удивился Леон.

– Так, не будут, – сказала Катя.

Тому минуло два года. Никто в классе ни разу не обозвал Катю. Хотя трудно было представить себе фамилию более к этому располагающую, нежели Хабло.

Урок продолжался.

Судя по тому, что Леон не забывал о случившемся в туалете, что лица одноклассников были нехороши, Катя не торопилась исполнять его просьбу.

Утром по пути в школу Леон задержался возле газетного стенда. Волнения на национальной почве имели место в Дагестане. Но пока кто-нибудь оттуда доберется до Москвы, определится учиться в их школу, придет новеньким в их класс, сколько времени пройдет! Да и не больно-то поиздеваешься над чеченцем или осетином. «Зарэжу как собаку!»

Леон из последних сил, так, что во лбу хрустнуло, заломил глаза на Катю.

Та чуть заметно кивнула.

То ли от чрезвычайного залома, то ли от счастья у Леона потемнело в глазах.

– С меня шампанское! – вдруг громко, думая, что про себя, а вышло вслух, произнес он.

– Что-что? – изумилась учительница.

– Хочет справить поминки по этому... Как его... – Фомин определенно имел в виду обществоведение, но по неизвестной (всем, кроме Кати Хабло и Леона) причине не сумел закончить фразу.

– Шампанское! – хмыкнул кто-то. – Где ты, Леон, раздобудешь шампанское?

– А у цыган! – предположил Фомин.

– Отравят.

– Сейчас никакое нельзя пить. Гонят, сволочи, по ускоренной технологии из гнилых дрожжей. У меня сестра с мужем отравились. Ночью «скорую» вызвали, конечно, не приехала.

Леон был совершенно счастлив. Слова одноклассников звучали для него как музыка.

– Все? Обсудили? Мне можно продолжать? – спросила учительница.

Урок двинулся своим чередом, но Леона не оставляло чувство нереальности происходящего, как если бы он уже успел нахлебаться скороспелого, из этих самых гнилых дрожжей шампанского.

Не то чтобы он жалел учителей, как-то вдруг присмиривших и растерявшихся, скорбел по отмененному обществоведению. Просто счастливо придуманное это обществоведение было тем, на чем стояла школа. Оно исчезло, и здание оказалось не прочнее карточного домика. Стояло до первого порыва ветра.

Безусловно, обществоведение было ложью. Но эта ложь придавала жизни вообще и школе в частности видимость смысла и стабильности, вносила в нее пусть порочный, но порядок. То есть в определенном смысле была ложью созидающей, во спасение.

Без обществоведения жизнь и школа съехали с круга. Учебники старели раньше, чем сходили с печатных машин. Без учебников учителя остались наедине с учениками, и как-то так оказалось, что им нечего друг другу сказать. В младшие классы уже раз в неделю навещался батюшка из ближайшей церкви, а в учебнике по истории СССР была картинка, как другие изуверы-батюшки рубили топорами пионера-колхозника. Информация о жизни двигалась двумя взаимоисключающими потоками, и, вероятно, это было нормально, только вот учителям, чтобы чему-то учить, надо было определиться, стать по какую-то одну сторону. Они же не могли, как не могли почти все русские люди, и это превращало недолгую, как думалось, паузу между двумя реальностями – обществоведческой и постобществоведческой – в неожиданно затянувшуюся третью, когда на место обществоведения торжествующе заступило... ничто.

Ничто выигрывало в сравнении с обществоведением, так как не являлось заведомо ложным измышлением, порочащим здравый смысл. Однако и проигрывало, так как вместе с обществоведением по каким-то причинам исчезли: вино, водка, пиво, мясо, сахар, мука, конфеты, кофе, печенье, кроссовки, куртки, сигареты, крупы, штаны, штапель, платья, сумки, одеколон, электроприборы, соль, нижний и верхний трикотаж, носки, зажигалки и все остальное. Процесс исчезновения продуктов питания и товаров был неостановим, развивался с непреклонностью исторического закона, то есть независимо от воли и желания людей, игнорируя обстоятельство, что подавляющее большинство предприятий работали, а некоторые так даже перевыполняли планы. Тень исчезнувших товаров и продуктов ностальгически золотила уходящий, как град Китеж, лик обществоведения. Хрен с ним, с социализмом-коммунизмом, было бы что пить-жрать да чем прикрыть срам! В то время как пустые прилавки государственных и не пустые (но лучше бы они были пустыми) издевательские в коммерческих магазинах укрепляли в мысли, что демократия – ничто не только в переносном, но и в самом что ни на есть прямом смысле слова. «Демократия – заговор против русского народа!» – такой плакат вот уже неделю висел в подземном переходе. Предыдущий: «Борис Кагарлицкий – президент России!» – не продержался и дня.

Леон подумал, что если кто и не пропадет в новой жизни, так это Катя Хабло. Ее таланты, ценимые и в спокойные времена, в нынешние – бесценны. «Екатерина Хабло – президент России!» И еще подумал, что слово не воробей, придется после уроков угощать Катю шампанским.

Но где и как?

У Леона было в кармане одиннадцать рублей. Теоретически на два фужера могло хватить.

Он стал оборачиваться, делать Кате знаки, жестами изображать, как они пойдут и выпьют. Катя не отворачивалась. У Леона сладко обмирала душа, до того она была хороша. Ему казалось, он спит. Он еще с детства знал, что самая полная, самая живая жизнь – во сне. Так повезти, как ему сегодня, могло только во сне. Леон стремился оттянуть момент пробуждения. Лучше сон, чем превратившаяся в ничто жизнь. Во сне нет проблем. В ничто все проблемы. И самая неразрешимая – угостить, имея в кармане одиннадцать рублей, одноклассницу шампанским.

Была только середина апреля, однако в Москве установилась ясная, горячая, радиоактивная весна. Небо казалось чистым и твердым, как огромный ядерный кристалл. Что-то пугающее заключалось в противоестественной небесной чистоте, когда тысячи машин и труб неустанно отравляли воздух. Листья на деревьях были большими, яркими и упругими, как из резины. Что тоже наводило на мысли. С чего это им зеленеть среди асфальта и выхлопных газов?

Беспрепятственно льющийся на землю солнечный свет расслаблял, кружил голову. Что, конечно же, не могло быть не чем иным, как следствием радиации. Лицам мужского пола следовало ждать от радиации и иных, помимо легкого головокружения, сюрпризов. По телевизору бубнили, что радиационный фон в пределах нормы.

Однако люди давно отвыкли радоваться таким вещам, как хорошая солнечная погода в апреле. Наоборот, некоторым казалось, что стоять под внезапным апрельским солнцем в многочасовых уличных очередях тяжелее, нежели в привычную с дождичком прохладу. Так что не обходилось без гнева на последнее Господнее «прости», каким, вне всяких сомнений, являлась теплая солнечная погода, если бы не подозрение на радиацию.

Леон подждал Катю на скамеечке в сквере перед школой. Сквозь зелень деревьев белая четырехэтажная школа выглядела почти идиллически. Мелькали яркие одежды учеников. Вполне пристойно были одеты и родители, встречающие младшеклассников. На скамейках в сквере щурились на солнце старушки, молодые мамы наблюдали за бегущими по дорожкам детьми.

Одним словом, в расчленяемой на самостоятельно дергающиеся лягушачьи лапки жизни пока еще присутствовала некая общая благостность, красота уходящего в глубокие воды града Китежа, отрицать это было невозможно.

Угостить Катю Хабло шампанским Леон вознамерился в баре со странным названием «Кутузов», недавно открывшемся в соседнем доме на проспекте. Раньше (когда еще не перевелись кое-какие продукты) там помещалась кулинария. В одну ночь «Кутузов» выбил ее лихим сабельным ударом. Теперь большие окна были занавешены, на асфальте перед баром возникли чугунные белые стулья и столики, на которых, впрочем, пока никто не сидел, так как они были прикованы друг к другу и все вместе скованы, как каторжники, цепями. У двери замаячила малопрстойная прилизанная рожа в черном бархатном жилете и в белой рубашке с бабочкой.

Леон выбрал «Кутузов» потому, что однажды был там с Фоминым.

Помнится, им явилась мысль выпить. Осуществить ее оказалось не так-то просто. В гастрономе давали вино под названием «Алазанская долина». Они честно отстояли хвостатую матерящуюся очередь, но продавщица вернула чек, ткнув в испачканный в томатной пасте прикнопленный лист у себя за спиной: «Спиртные напитки отпускаются только лицам, достигшим двадцати одного года по предъявлению паспорта». Тут же подскочил худой, иссушенный, как стебель из гербария, алкаш в клешах и в куцей курточке, но доверить такому чек было все равно что не заходить в магазин вовсе.

Потащились в кафе-мороженое. Однако официантка вместо того, чтобы принести просимое, вдруг набросилась на Фому: «Ты из какого класса, говнюк? Как фамилия? Не ты ли моему Сашке свитер разорвал? Знаешь, гад, сколько сейчас свитер стоит? Он мне говорил: толстый из восьмого. Как фамилия, морда? Пойду к твоим родителям! Пусть новый покупают!»

Как ни странно, свитер этому непримечательному (если не считать, что у него мать официантка) Сашке разорвал действительно Фома, схватив зачем-то Сашку за рукав, когда тот бежал вниз по лестнице. Некоторое время Сашка продолжал бежать (уже не так быстро), в то время как рукав свитера остался в крепких руках Фомы. Потом Сашка продолжил бег, но уже без рукава, то есть уже не в полном свитере, но еще и не в окончательной безрукавке.

И тогда они вспомнили про таинственный, недавно открывшийся «Кутузов».

Внутри было прохладно и пустынно. Прилизанная рожа меняла у освещенной стойки кассету в магнитофоне. «Увези меня в Америку, в Америку, в Америку...»

В углу над длинным стаканом скучала единственная посетительница – накрашенная потаскуха с вытянутой рыбьей мордой.

– Нальешь? – угрюмо осведомился у бармена Фома. Он всегда сразу брал быка за рога. Даже когда лучше было не сразу.

– Тебе который годик, малец? – ухмыльнулся бармен, ритмически подергивая шеей. «В Америку, в Америку...» – Вошла молодежь! – пригласил к совместной потехе потаскуху. «Навсегда, навсегда!» – прочувственно стонал певец, по всей видимости гомосексуалист. В голосе бармена, впрочем, не угадывалось категорического отказа. И вообще, все вокруг с недавних (а может, с давних) пор было устроено таким образом, что, начинаясь с неизменного «нет», почти всегда заканчивалось неизменным «да». Вот только денег на «да» не всегда хватало.

– У тебя же пусто, – заметил Леон, – прогоришь. Налей два по двести сухого.

– Не прогорю, – заверил бармен и, понизив, как на конспиративной сходке, голос, поинтересовался: – Очень хочется выжрать?

Леон и Фома насупленно молчали, понимая, что он издевается, но определенно запаздывая с ответной реакцией. Кому-то следовало взять инициативу.

– Ладно, налью, – вдруг рассмеялся бармен, видимо вспомнив что-то приятное. – Гоните червонец.

– За два стакана сухого? – возмутился Фома.

– Идите где дешевле, – зевнул бармен, – я вас не задерживаю. Вот так, – повернулся к потаскухе, – хочешь сделать людям добро, а они... – махнул рукой, скорбя о неблагодарных людях.

Леон и Фома топтались, свистяще перешептывались, не зная, на что решиться.

– Дерьмо ты, Валера! – вдруг в два рывка, как механическая кукла, поднялась из-за стола потаскуха с рыбьей мордой. Леон немедленно отметил, что вовсе не рыба у нее морда. – Засохшее кроличье дерьмо! – решительно уточнила она, немало, надо думать, озадачив Валеру.

Некоторое время прилизанный бархатный Валера молчал, трудно осознавая, что он засохшее кроличье дерьмо. Затем произнес единственное, что мог произнести в данной ситуации человек его профессии:

– А шла бы ты на х..., пьянь! Сама ты кроличье дерьмо!

Нетвердой, как по качающейся палубе, походкой девица подошла к стойке, бросила на нее зеленоватую пятидолларовую бумажку.

– Нальешь ребятам, – расплывчато улыбнулась Леону и Фоме, – а не нальешь, они мне скажут. Гена у тебя доллары вместе с яйцами вырвет, – и вышла, зацеписто ступая длинными в черных сетчатых чулках ногами.

Какая рыба морда, восхитился Леон, красавица, русалка, фея! Валера немедленно принес два стакана вина и шоколадку. Настроение у него, как ни странно, не испортилось. Доллары были важнее такой не заслуживающей внимания мелочи, как «засохшее кроличье дерьмо». А может, Валера от природы был необидчивым человеком.

Вот туда-то, в «Кутузов», к Валере – «засохшему кроличьему дерьму» – и вознамерился Леон вести Катю Хабло.

Она уже приближалась к скамейке, на которой сидел Леон.

Как только Катя и ее мать приехали в Москву из Мари Луговой, где луга и гуси, гуси и луга, поселились на первом этаже в однокомнатной служебной квартире (Катина мать устроилась дворником по лимиту), недобрые слухи поползли о них. Хотя Катина мать подметала чисто, а Катя училась хорошо. Никто ничего доподлинно не знал, но будто бы не случайно их шуганули из этой самой Мари Луговой. Они бежали в чем были, бросив имущество. Неспроста вот так сразу их приняли в Москве в дворники. Попробуй-ка устройся в Москве дворником, не будучи татаринком.

Сейчас они жили в трехкомнатной квартире с коридорами и холлом на последнем этаже.

Катина мать, молодо выглядевшая женщина, с такими же, как у дочери, светящимися осиными глазами, частенько появлялась в телевизионных передачах с астрологическими про-

гнозами. Ее прогнозы почти всегда сбывались. Что было не очень удивительно. Чем мрачнее был прогноз, тем больше шансов было у него сбыться. Катина мать, впрочем, не настаивала, что нынешняя жизнь – кладбище надежд. Внутри ее прогнозов всегда находилось светлое местечко для людей с определенными чертами характера. Она перечисляла эти черты, и каждый с затаенной радостью обнаруживал их у себя. Тьма тьмой, но каждому в отдельности, оказывается, очень даже могло привалить счастье. Оттого-то все замирали у телевизоров, когда она появлялась в мерцающем звездном платье: загадочная, красивая, знающая истину.

К их подъезду частенько подъезжали черные партийно-государственные и иностранные – с дипломатическими, советскими, а также совместных предприятий – номерами.

Месяц назад в прямом эфире одной из телепередач лихой ведущий предложил Катиной матери составить гороскопы КПСС и марксизма-ленинизма, как учения, определяющего судьбы людей. Катина мать долго отказывалась, но опьяненный прямым эфиром ведущий напирал, и в конце концов она согласилась.

Договорились через неделю.

Передача была еженедельной, однако вот уже месяц в эфир не выходила. Не показывался и заваривший кашу плюралист-ведущий. На телевидение и в газеты валом шли письма. Народ желал знать. Группа депутатов Моссовета направила запрос в Гостелерадио. Неужели гороскопы КПСС и марксизма-ленинизма столь безнадежны, что боязно обнародовать? Или, напротив, до того благоприятны, что опять-таки боязно? Дело обстояло как с известной поговоркой: хуже или лучше татарина незванный гость? Телевидение оказалось в трудном положении. Выход был избран проверенный – тянуть и врать, авось забудут. Ведущий перешел работать в независимую телекомпанию. Астролог-прорицательница улетела на всемирный съезд оккультистов в Амстердам. Гороскопы КПСС и марксизма-ленинизма могут с четкостью составить сами телезрители, настолько нынче все ясно с КПСС и марксизмом-ленинизмом. Жизнь в наши дни дает ответы быстрее и вернее астрологов, тонко намекали другие ведущие. Но народ не привык к тонкости. Он требовал от астрологической науки точных сроков, отведенных марксизму-ленинизму, как раньше от КПСС точных сроков построения коммунизма.

«Что ей мое несчастное шампанское? – с тоской смотрел Леон на приближающуюся Катю Хаблю. – Когда ее мать известный на всю страну человек, без пяти минут депутат от общества прорицателей, больше чем академик! Когда у них рублей, долларов, продуктов выше головы! Когда она сама, дочь луговой ведьмы, умеет предсказывать, внушать, заставлять забывать, да все умеет! Что ей мое несчастное шампанское? Которое еще надо раздобыть! И чтобы гад налил, не выгнал, не опозорил! Что я ей, ничтожество, нищесброд, жалкий сын... кого?»

Перед глазами встала бежевая обложка учебника обществоведения, теннисно отражающая в унитазах струю мочи. Наверное, уборщица уже брезгливо, двумя пальцами за краешек, выбросила учебник в мусорный бачок.

«Как же так? – задумался Леон. – Два года назад я считался сыном уважаемых родителей, кандидата и доктора философских наук. Меня в школе знали и выделяли. Мои родители были авторами раздела “Научный коммунизм – высшее достижение человеческой мысли” в школьном учебнике обществоведения, каждый год в единый политдень выступали перед коллективом учителей с лекциями об идеологической борьбе на современном этапе. А она была дочерью дворничихи, из милости или по протекции других нечестивцев пригретой в Москве после непрямого, связанного с ведьмовством, не иначе, погрома в неведомой Мари Луговой. Не случайно приезжал оттуда следователь. Мое будущее было ясно и определено. Ее – неясно и неопределенно, как это обычно бывает с будущим дворничихиных дочерей, да к тому же еще и ведьм. Прошло всего два года. И уже я сын недостойных родителей, моей семье впору устраивать погром, мои родители, оказывается, поклонялись нечистой силе в лице марксизма-ленинизма. А они – ведьмы! – выступают по телевизору, предсказывают будущее, составляют гороскопы, купаются в славе и в долларах, ездят в Амстердамы! Как же так?»

Леон поднялся навстречу Кате, преисполненный одновременно благодарностью и злобой. Благодарность была по конкретному поводу, а потому строго очерчена. Злоба – смутна, расплывчата, с тенденцией к безобразному расширению, как нефтяное пятно в океане. То была вечная, как мир, злоба на жизнь, без всякой справедливости возносящую одних и унижающую других. Злоба стынувшего во тьме неудачника к кобелящемуся в тепле и свете удачнику. То есть, собственно, и не злоба, а естественное состояние человека. Не делающее ему чести. Когда один из хвоста безнадёжной очереди видит, что другой отоварился и раз, и два.

– Ну? – усмехнулась Катя, разгадав, по всей видимости, малооригинальные и невысокие мысли Леона.

Она стояла перед ним в невиданной куртке, в переливающихся кроссовках с разноцветными шнурками. Хорош (почти как у Эпоксиды) был у нее и рюкзачок за плечами. Из Амстердама.

Леон незаметно бросил взгляд на свои некогда белые, а теперь серые в ломких полосах ботинки, привезенные год назад матерью из Венгрии. Подобно тому, как шагреневой кожей съезжались в Европе социалистические пространства, все более редкими становились заграничные поездки родителей Леона.

А было время, отец по приглашению Жоржа Марше вел марксистский семинар в Париже!

Последний раз – несколько месяцев назад – отец был на Кубе и не привез оттуда ничего. «Ничего не поделаешь, – помнится, развел он руками, когда мать и Леон изумленно уставились в пустой чемодан. – Социализм на Кубе достиг абсолютной свободы от товаров. Социализм или смерть, так считает мой друг Фидель». – «А что лучше?» – не выдержал Леон, надевшийся если не на ботинки, так хоть на майку. «Трудно сказать, – пожал плечами отец, – это как разница между смертью медленной и мгновенной. Говорили люди: поезжай в Пхеньян, если не получается в Ханой!»

– У меня одиннадцать рублей, – Леон решил, что Кате Хабло, как некогда товарищу Сталину и, наверное, сейчас товарищам Фиделю Кастро и Ким Ир Сёну, надо говорить правду, одну только правду. – На шампанское должно хватить.

– Погуляем, – ответила Катя, – а там видно будет.

– Конечно, – Леон наметил маршрут: мимо школы по набережной, а там через проходные дворы на проспект к «Кутузову». – Я давно хотел у тебя спросить...

– Про гороскопы КПСС и марксизма-ленинизма? – поморщившись, закончила она за него. – Не ты один. Вчера директор тоже спрашивал.

Леону бы: нет, почему мне так хорошо с тобой? Или еще пошлее: известно ли тебе, какие у тебя красивые глаза?

Девочки любят пошлость.

Он же, как идиот, молчал, позволяя верблуду в лице КПСС и марксизма-ленинизма влезть в, казалось бы, совершенно непролазное для него ушко: разговор мальчика и девочки из восьмого класса.

Леон подумал: если он ропщет, что у Кати Хабло есть все и будет еще больше, в то время как у него нет ничего и будет еще меньше, какие же чувства должна вызывать в одночасье переменявшаяся жизнь у его родителей, со студенческой скамьи кормившихся марксизмом? Леон сомневался, что они искренне в него верили. Разве можно искренне в это верить? Но разве можно и совсем не верить, если полчеловечества оказалось под пятой? Значит, все не так просто. Скорее всего, родители, конечно, не верили, уверял себя Леон. Но служили, так как не было и не предвиделось в России другой власти. То есть были заурядными конформистами. Или гениально провидели, что любая другая власть для России будет неизмеримо хуже? То есть были как бы уже и не конформистами, а мудрыми государственниками-консерваторами, выбравшими меньшее из зол. Презирая в душе (человек всегда ставит себя выше любой вла-

сти), служили, так как, во-первых, век власти обещал быть дольше их века, во-вторых, надо было кормиться, и желательно хорошо.

Леон подумал, что перед родителями, как перед всеми русскими людьми, открылось три пути. Возненавидеть живую жизнь, в одночасье сокрушившую марксизм-ленинизм. Стать дубовыми коммунистами. Возненавидеть марксизм-ленинизм за то, что дал себя сокрушить живой жизни. Стать яростными демократами-антикоммунистами. Задуматься о причине, по какой он, вооруженный и неуязвимый, утвердившийся на всех континентах, исключая Австралию, вдруг дал себя сокрушить? Как задумался и ужаснулся Леон. Стать... кем?

Леон пока не мог сформулировать. Каждый путь что-нибудь да сулил. Только родители, как истинно русские люди, не торопились выбирать.

А еще Леон подумал, что где три пути, там сто три. Следовательно, грош цена всем его умозаключениям. То была неприятная мысль, из тех, что, как незванный гость, является под занавес и портит во всех отношениях приятный вечер. Леон не знал, зачем являются такие мысли.

Он уже не ждал Катиного ответа о гороскопах, а казнил себя, что задал глупый, какой не преминул бы задать и Фомин, вопрос.

– Собственно, не то чтобы меня это сильно волнует, – взялся углублять и расширять ненужную тему Леон. – Просто я думаю о родителях. Они ничем другим не могут заниматься.

Они шли с Катей по набережной Москвы-реки. Вода внизу была как протертое стекло. Поросшие шевелящимся мхом камни, гнутые, проржавевшие остовы, бутылки, выломанные и сброшенные секции чугунной ограды находились под прозрачайшим этим стеклом. Словно в воду не сливали ядовитые отходы сотни дымящих трубами предприятий по обоим берегам. Может быть, подумал Леон, количество загрязнений наконец перешло в качество? Отсюда спокойствие и чистота? Спокойствие и чистота лица покойника, чьи черты временно разглаживаются из-за разложения тканей. По реке в пенных усах летел катер, опять-таки за пределами белый и чистый, как будто внутри сидели ангелы. «А у меня ботиночки того...» – Леон почувствовал себя странно живым на празднике чистой смерти.

– Мама сделала гороскоп, – вздохнула Катя. – Но они не хотят оглашать по телевизору. Кстати, я тоже сделала, у меня получился не такой, как у нее. Ты какой хочешь?

– Твой, – не раздумывая, ответил Леон. – Конечно же, твой. Только пошел он к черту, этот марксизм-ленинизм!

– Почему? – пожала плечами Катя. – Это жизнь. Я тоже подумала о маме. Она тоже ничем другим не может заниматься.

– Когда она была дворником, – возразил Леон, – во дворе был порядок.

– Когда твои родители станут дворниками, – спросила Катя, – порядка, думаешь, будет меньше?

– Увидим, – пробормотал Леон, – недолго ждать.

– В сущности, моя мать и твои родители занимаются одним делом. Только время ваших гороскопов прошло. Наших пришло. Это естественно. Потом все может поменяться.

Леон смотрел на Катю. Ее образ ускользал от него. То она казалась невзрачной, недоразвитой девчонкой, типичной дворничихиной дочерью, мимо которой хотелось плюнуть и пройти. То – симпатичной, как надо развитой девчонкой, мимо которой не хотелось проходить мимо. Похожие (только куда более вульгарные девчонки) выходили вечерами гулять во двор, прокуренно смеялись с качелей. Леона влекло к ним, как привязанного к мачте Одиссея к сиренам. Но качельные, хрипло матерящиеся сирены вряд ли бы стали разговаривать с Леоном, их интересовали парни постарше. А случалось, что-то вневозрастное, вневременное, сущностное проглядывало в Кате: в сухом блеске глаз, скрипучем смехе, презрительном (так смотрит высший на низших) взгляде, некой сверхъестественной, как будто весь мир был грязью, безгливости, которую Катя совершенно не стремилась скрывать от других.

Леон догадывался, что это нехорошо. Что если это и не зло в чистом виде, то уж никак не добро. Но не знал, как быть, так как лично ему Катя Хабло не делала ничего плохого, только хорошее.

Образ Кати, таким образом, троился, не складывался в единый.

Число «три» определенно преследовало Леона. То ему виделись три пути для русского народа. То образ Кати распадался на три составные части. Леон измучился, как ходок, который сбил ноги, идучи к цели, а на дорожных указателях всё три километра.

Катя взяла его под руку.

В голове Леона вдруг учинился пожар, в котором без остатка сгорели предыдущие пророческие мысли. Чудом уцелела единственная: как легко существу женского пола обмануть существо мужского пола. Леон, подобно Пушкину, был сам обманываться рад. А вот мне ее не обмануть, никак не обмануть, покосился на Катю Леон. Она улыбнулась. Быстрее, быстрее в «Кутузов»! – чуть не задохнулся от счастья Леон.

– Куда летим? – поинтересовалась Катя после нескольких минут молчаливого, сосредоточенного хода по набережной.

– Что? – растерялся Леон, вдруг обнаруживший, что сопит. – Как куда? В «Кутузов»!

– В музей? – удивилась Катя.

– Название странное, – согласился Леон, – но вообще-то это бар.

– И он вот-вот должен закрыться?

– Наоборот, открывается в три.

– Ты хочешь, чтобы мы были первыми посетителями?

– Я заметил, – вдруг сказал Леон, хотя совершенно не собирался этого говорить, – когда выпьешь, жизнь кажется не столь омерзительной.

Это было воистину так. В прошлый раз, выпив на счет рыбемордой девицы с Фомой в «Кутузове», Леон не только смягчился к Валере – «засохшему кроличьему дерьму», но и Фома вдруг предстал отличным парнем, неглупым собеседником. В немногословных его репликах, оказывается, был смысл, немалый смысл, почему-то ранее ускользавший от Леона.

«А что будет, если я выпью с ней?» – посмотрел Леон на Катю.

– Жизнь кажется тебе омерзительной... сейчас? – спросила Катя.

– Когда ты рядом, нет! – наконец-то с чувством влестил ей Леон. – Но она станет еще лучше!

Теперь, когда цель была обозначена, Леону не нужно было мудрить с маршрутом прогулки, чтобы они оказались возле «Кутузова» как бы случайно.

Они спокойно приблизились к его задрапированным тяжелым красным бархатом окнам, как вдруг из «Кутузова» вышли, хлопнув дверью, преподаватель физкультуры и практикантка из Института иностранных языков, подменяющая у них в классе учительницу английского. Физкультурник, впрочем, тоже в последнее время не бездельничал в спортзале – вел, за неимением других, по совместительству русский. Он особо не вдавался в тонкости, учил строго по учебнику, больше налегал на диктанты. Теперь его звали не просто физкультурник, а «русский физкультурник». Судя по всему, русскому физкультурнику и практикантке не понравилось в «Кутузове». «Сволочи! Мразь! – донеслись до Леона слова физкультурника. – Своими бы руками задушил!» – при этом он задумчиво посмотрел на свои могучие, привыкшие к гантелям руки, как бы не вполне понимая: что, собственно, их удержало?

Леону бы, чинно идущему под руку с Катей, поздороваться спокойно с учителями да и с достоинством войти в «Кутузов». Он же, нервно рассмеявшись, ломаным каким-то, воробьятым, ужимчатым шажком обогнул удивленных физкультурника и практикантку, протащил Катю мимо «Кутузова», шмыгнул с нею в соседнюю дверь, где помещалась аптека.

Что было, мягко говоря, неумно.

Добропорядочные школьники, теоретически по крайней мере, могли заглянуть в бар, выпить, скажем, пепси-колы. Хотя всем известно, что в отечественных барах пепси-колу школьникам, пенсионерам, а также русским не наливают. Испуганно и обреченно метнуться в аптеку на глазах у преподавателей могли только неумные юные наркоманы-эротоманы, которым немедленно приспичило приобрести необходимое химическое снадобье.

Мысль эта пришла в голову Леону уже после того, как они оказались в аптеке. Ноги у него значительно опережали мысли.

Русскому физкультурнику та же самая мысль явилась еще позже. Он угрюмо шагнул в сторону аптеки, но удержала практикантка. Леон перевел дух. Он знал, знал, что она выручит, выручит! Практикантка была истинной демократкой, педагогом эпохи постобщественности. На уроке английского всегда сама читала со словарем детективы, им же говорила: «Сидите тихо. Будете мешать, начнем заниматься английским!» И не было тишины тише, чем в их классе.

Леон тупо смотрел в окно на удаляющуюся бугристую тренированную спину русского физкультурника и плоскую египетскую (наверное, спит на доске, готовит себя к пляжам Монте-Карло) спину практикантки.

Горизонт был чист.

Но отчего-то «Кутузов» уже не казался желанным. И Катя Хабло надоела как бы наперед. Жизнь в одночасье предстала серой, пустой и бессмысленной, какой она всегда вдруг оказывается, когда человек понимает, что мелко, дешево оплошал и что другие видели. Хочется поскорее затеряться, раствориться, чтобы заодно затерялось, растворилось и «как оплошал».

То было утешение для слабых.

К которому охотно прибегали сильные.

Леон заставил себя улыбнуться.

Губы были как деревянные.

Пустая, лишь нормированные презервативы да бандажные пояса, аптека, снующие по проспекту в поисках жратвы, походно одетые, тусклые, стертые, как пятаки, люди неопределенного возраста, очищенные от продуктов витрины, проносящиеся по проезжей части, кашляющие от некачественного бензина, с изношенными моторами побитые автомобили, формула воздуха, в которой причудливо соединились обреченность и злоба, страх помереть с голоду и одновременный всеобщий сон, несмотря на миллионные лунатические шествия, плакаты: «Борис Кагарлицкий – президент России!» Все в расстроенном воображении Леона смешалось, закрутилось в спиральном смерче, устремленном в никуда, точнее, в смерть, отсрочиваемую стоянием в очередях (пока есть за чем), отовариванием талонов (пока отоваривают), посещением митингов (пока есть охотники выступать и слушать), именинами под неведомо как раздобытую водочку, а чаще под самогон, хозяйственными и прочими ничтожными хлопотами под бесконечную говорильню по радио и телевизору, выступления экономистов и политологов, обсуждения ужасных сценариев дальнейшего развития событий. И на все, как обшарпанный экран в сельском клубе, наложился уходящий спинами: русского физкультурника и практикантки. Хотя Леон никак не мог взять в толк, при чем здесь русский физкультурник и практикантка?

Леон сам не заметил, как переступил с Катей сомнительный порожек «Кутузова».

Со времени прошлого посещения «Кутузов» обрел, что называется, лица необщее выражение. На стенах появились писанные густым маслом лубочно-яркие портреты героев Отечественной войны с Наполеоном. У Леона, впрочем, закрались сомнения. Больно уж неблагоприятными – хоть и в бакенбардах – были физиономии. А один – юный в кивере и в лохматых эполетах – так был вылитый Эпоксид.

И как всегда, пустынно было в баре.

За дальним столиком сидели с лицами, как утюги, тренеры и с кукольным лицом аэробистка из все того же спортивного кооператива «Бородино». Время выпивать им, видимо, еще не настало, поэтому сидели постно, как на лекции по научному коммунизму.

Леон подумал, что зарабатывать большие деньги, оказывается, не всегда веселое дело. Но жалеть накачанных, со стеклянными стриженными головами ребят и составленную из гуттаперчевых частей, словно и не женщину вовсе, аэробистку не стал.

Его по-прежнему занимало: как не прогорает этот бар, за счет чего существует? Вряд ли крупные бандиты (а большие деньги, как известно, от них) сделали этот бар, всеми окнами смотрящий на Кутузовский проспект, на правительственную трассу, по которой, сметая все живое, носятся черные ЗИЛы, а по тротуару челночат милиционеры с рациями и агенты наружного наблюдения, своим штабом. Слишком легко тут всех повязать.

Или вопрос уже так не стоит?

Процветание вечно пустого «Кутузова» было такой же неразрешимой загадкой, как процветание многих других, решительно ничего не производящих, но лопающихся от денег и разного иностранного добра кооперативов и контор.

Но отчего-то Леону казалось, что если бы, вопреки всему, вдруг возникли иные – дельные, полезные, трудовые, – их бы возненавидели пуще нынешних. Честный труд отчего-то был народу ненавистнее бандитизма и воровства. Никто, конечно, в лоб не провозглашал, но было именно так.

Жизнь кололась, как льдина. Пока что пустившиеся в автономное плавание куски были просторными, вполне пригодными для существования. Но со всех сторон доносился пугающий шум черной воды. Все знали, что единого ледяного пространства более не существует. Но никто не знал: какая льдина в каком месте расколется следующей? Как и куда, зачем они плывут, на какой безопасней?

«Ничего не поделаешь, плывем к гибели», – обреченно и безвольно, как миллионы соотечественников каждый день, констатировал Леон.

«Кутузов» предстал не худшим уголком на плывущей к гибели льдине. Уголком, где при наличии рублей, а еще лучше долларов, можно было отвлечься от невеселых мыслей, укрыться за звуконепроницаемым красным бархатом. Только у Леона не было достаточного количества рублей. Долларов же он вообще ни разу в жизни не держал в руках, как будто не было никаких долларов. Семья Леона оказалась вне долларов. Марксизм-ленинизм, научный коммунизм оказались самым неконвертируемым из всех неконвертируемых товаров. Отвлечься, укрыться предстояло условно. На одиннадцать рублей, и ни на копейку больше.

Валера – «засохшее кроличье дерьмо» – за стойкой не стоял.

– Проходи, устраивайся! – широким жестом завсегдатая Леон повел рукой поверх пустых столиков. Другой рукой небрежно похлопал Катю пониже спины. Так, наверное, похлопывал своих пожилых девушек Эпоксид, когда приезжал сюда на неизвестно чьей машине марки «Ауди».

Появился Валера. Лицо его не выражало ни малейшей приветливости. Напротив, по мере приближения Леона оно становилось все более и более недружественным.

Леон подумал, что неминуемое изгнание из бара сразу после позора у аптеки – это слишком. Мысль работала ясно, бодро, как хорошо бы ей работать всегда, но как она почти никогда не работала. У аптеки, к примеру. «Гена! – возликовал Леон. – Она сказала, что Гена заступится!»

Неведомое имя должно было смягчить Валеру. Или, напротив, разъярить. Леону было все равно. Скандальное изгнание было даже предпочтительнее тихого, унижительного.

– Ты почему сюда... – то, что Валера заговорил первым, не обещало хорошего.

– Привет! – радостно улыбнулся Леон. – Гена кланяться велел. Мы ненадолго. На одиннадцать рублей разве долго посидишь? – рассмеялся как законченный проходимец.

Некоторое время Валера брезгливо рассматривал Леона, как какое-то скверное насекомое. Как засохшее кроличье дерьмо, если бы оно вдруг стучащим горошком упало на стойку. Он был тертым парнем, этот Валера. К тому же профессия бармена изрядно дисциплинирует человека, учит скрывать мысли. Зрачки Валеры не дрогнули, как это случается, когда человек принимает что-то к сведению. Леон понял, что переоценил крокодила Гену, по всей видимости сутенера рыбьимордой потаскухи. Ничего-то этот Гена не может. Нуль.

И все же упоминание вырывающего яйца крокодила не повредило. В том смысле, что Валера решил, что вреда от Леона будет немного, а одиннадцать рублей хоть и никакие, а все же деньги. Поморщившись, он кивнул на чистую тарелочку перед собой. Леон счастливо выложил на нее пятерку и две трешки.

– Фужер шампанского и... – Леон вдруг отчетливо осознал, что не хочет шампанского, что шампанское напиток не для мужчин, отец, к примеру, никогда не пил шампанского, только водку или коньяк. Леону хотелось чувствовать себя настоящим мужчиной. – Водочки, – изумляясь собственной наглости, выставился на Валеру. – Ну, там граммuleчку, на сколько останется от шампанского, лады? – и полагая тему исчерпанной, пошел прочь от стойки.

– Подожди, – услышал голос Валеры. Остановился.

Валера задумчиво смотрел на него уже не как на просто скверное насекомое, а еще и редко встречающееся в здешних местах.

– Отнеси сам, – достал из холодильника бутылку шампанского, налил в длинный стакан.

Странно, пока Валера наливал, шампанское совершенно не пенилось. В стакане же вдруг забушевало, свесилось через края дурацкой пенной ушанкой.

Водки Валера, как какому-то коту, набрызгал в толстобокую рюмку из оснащенной специальным железным клювом бутылки.

– Спасибо, – от души поблагодарил Леон.

– Рано начал водочку пить, – с отвращением отвернулся от него Валера.

«Смешная страна, – размышлял Леон, идучи со стаканом и рюмкой вдоль незанятых столиков. – Все пьют, но нечего пить. Бар существует, чтобы в нем пили, но он совершенно пуст. Я пришел выпить, но бармен читает мне проповедь, косвенно подтверждая тем самым, что Россия страна высоконравственных людей, будущий спасательный круг человечества. А окажись мой отец теневи́ком, подпольным миллионером, совместником-долларовиком, этот самый проповедник-бармен, вероятно, опоил бы меня, спрятал в какой-нибудь подсобке, а если бы отец не выплатил в назначенный срок сумму, отрезал бы мне уши!» Леон так сильно задумался, что прошагал по синтетическому ковру мимо Кати, остановился у зеркала перед последним столиком, за которым сучали уюги-тренеры и составленная из гуттаперчевых частей аэробистка. Они в недоумении уставились на Леона. Он пошел на свое место.

– Заблудился? – спросила Катя.

За время гулянья со стаканом и рюмкой у Леона изменилась походка. Вместо скованно-прямой сделалась развинченно-легкой, как у готового в любой момент предпринять что угодно, склонного к подончеству человека.

– Сегодня в школе, – поставил перед Катей стакан Леон, – ты спасла меня от смерти, – помолчав, неизвестно зачем добавил: – От гражданской смерти. Только она уже произошла, да.

– Ладно тебе, – Катя уважительно посмотрела на его рюмку.

Пока Леон подносил рюмку ко рту, две истины, два императива пронзили его сознание. Первая: нечем закусить. Если у привычного к водяре отца так съезжалось лицо, что произойдет с его лицом? Вдруг съедется, но не разъедется? Вторая: он никогда до сего мгновения не пил водки, сейчас будет впервые в жизни.

Надо было достойно принять вызов.

И Леон принял.

Валера набрызгал водки в рюмку на один глоток, и Леон сделал этот глоток, успев изумиться гадкому химическому и одновременно омерзительно живенькому вкусу водяры. Шумно выдохнул воздух, провел рукой по лицу, скрывая происходящие помимо его воли съезды-разъезды.

Несколько мгновений организм Леона активно протестовал, бесился, как необъезженный конь. Его бросило в пот, в жар, в холод, опять в жар. Леон вдруг услышал, как тикают часы у него на руке, как жужжит под потолком ранняя апрельская муха, а снаружи кто-то осторожненько скребется в дверь «Кутузова».

Но это быстро прошло. Ему стало тепло, хорошо, бестревожно. И старая мысль, одолевшая его с тех пор, как он осознал себя неизвестно зачем живущим на свете человеком, понесла его, как лыжника с трамплина.

Мысль не давала ему покоя во сне. Утром, когда просыпался. Днем, когда был вынужден заниматься какими-то делами.

Когда смотрел в темное вечернее окно, по которому ползли дождевые капли. Ночью, когда не мог заснуть, тупо следя за меняющимися зелеными жирными цифрами на настольных электронных часах. Когда шел по улице, по полю или по лесу. Когда сидел в школе. Когда читал или делал уроки. Когда смотрел телевизор или слушал радио. В последнее время, впрочем, Леон редко смотрел телевизор. А радио так вообще не слушал. (Хотя нет, недавно слушал. Передавали рассказ современного автора, состоящий сплошь из матерных ругательств. Их заменяли смешным пиликающим звуком, похожим на азбуку Морзе. Матерной морзянки было больше, чем простых человеческих слов. Леон, помнится, подумал, что радио на правильном пути. У нового пиликающего языка большое будущее.) Когда разговаривал с родителями. Леон редко с ними разговаривал. Когда спускался или поднимался по лестнице. Своим ходом или на лифте. Когда ел. А теперь, стало быть, когда пил водку в баре «Кутузов».

Леон испытал смутное беспокойство, так как не должна была одолевать его эта мысль в баре, где он к тому же не один, а с Катей Хабло.

Но одолевала.

И чем дальше, тем сильнее.

Любой трамплинный лыжник давно бы уже приземлился, а Леон все летел.

Эта мысль была бы безнадежно стара и невообразимо пошла, когда бы не была вечно нова и ошеломляюще оригинальна.

Жить незачем, жизнь, в сущности, не нужна, все бессмысленно, нет ничего, ради чего стоило бы длить физическое существование, распад первичнее души, душа навеки несчастна, потому что бесплодна, никакой души нет, вместо нее – светящийся на черной пленке рентгеновский снимок того, что могло бы быть, но чего нет.

Мысль заставляла Леона вставать на унитаз, пробовать на крепость крюк, странно торчащий из потолка в туалете. Крюк был крепок, мог выдержать любую мыслимую тяжесть. Леон недоумевал: зачем крюк? Не вешать же в туалете люстру? Потом догадался: то магический знак, в котором одновременно вопрос и ответ. Вопрос – если смотреть сверху. Крюк – если снизу. На спущенный, таким образом, сверху вопрос внизу уже был заготовлен ответ, аудиторией же для диспута почему-то был избран туалет в квартире Леона.

Мысль уносила Леона в лифте мимо своего этажа на верхний, к лестничному окну, частенько открытому. Он вставал на подоконник, едва держась за бренчащую раму, смотрел вниз на серый в трещинах, как кожа слона, асфальт, на овально-обтекаемые крыши машин, на похожих на прямые и искривленные, как будто вырванные из досок гвозди, людей. Если бы гвозди могли ходить, стоять, присаживаться на лавочки, играть в мяч. Леон смотрел вниз и думал: какой же сволочью надо было быть, чтобы написать: «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей». Ответ был не только в крюке на потолке в туалете, но и на слоновьем асфальте под окном. Только Леону не хотелось лежать дымящейся кучей из мяса,

костей и одежды в поначалу испуганно немотствующем, а затем истерично-говорливым кругу из, как выяснилось по прошествии времени, не самых крепких, а самых глупых в мире гвоздей. Асфальтовый ответ не казался Леону достаточно эстетичным. Наверное, только ботинки уцелеют, почему-то думал он, хотя что ему было думать о старых, в ломких полосах венгерских ботинках, когда он мечтал о новых, белоснежных, надутых, с надписями, таких, как у Кати Хабло или у Эпоксиды?

Мысль сообщала ему крылатую легкость, когда он стоял на платформе метро, ожидая поезда. Сначала слышался гул. Затем из туннеля скользил по кафелю липкий, похожий на щупальце отблеск. Наконец с грохотом, с горящим прожектором, как со звездой во лбу, из тьмы выламывался поезд. Хотелось уйти в скользящий по кафелю липкий отблеск. Это было лучше, чем висеть на крюке над унитазом, лежать с раскрытым черепом на слоновьем асфальте.

Но не так хорошо, как воспользоваться отцовским охотничьим ружьем.

Отец, похоже, забыл про него, а Леон недавно достал с пыльной антресоли, прочистил стволы проволокой, обмотанной промасленной марлей за неимением шомпола. Когда он смотрел на свет в стволы, по ним бежали отблески не хуже, чем по кафелю в метро.

Леон отыскал и сморщившуюся от времени коробочку с патронами. На ней был изображен токующий на лесной поляне тетерев в красном пионерском галстуке и с двурогим хвостом. Патроны оказались не с самой крупной дробью. Должно быть, отец в молодые годы ходил исключительно на мелкую дичь: бекасов или перепелок.

Смазанное, разобранное – в чехле – ружье отныне хранилось у Леона под кроватью.

Леон стал лучше засыпать. Теперь он чувствовал себя гораздо спокойнее и увереннее. Ружье под кроватью избавило его от необходимости без конца обдумывать одну и ту же мысль.

Избавило, да не совсем.

Леон улыбнулся.

Он знал, что улыбается улыбкой опасного придурка. Знал, что Катя Хабло это видит, но не мог заставить себя перестать улыбаться. К тому же захотелось еще – и немедленно! – выпить. Наверное, равнодушно подумал Леон, половина моих предков были сумасшедшие, половина – алкоголики, я выпил, спустил курок, невидимая генетическая дробь достала меня из прошлого, как тетерева-пионера.

Катя Хабло между тем прихлебывала шампанское, думала о чем-то своем, ей не было дела до потерявшего трамплин, сучащего в воздухе лыжами, падающего в пропасть Леона.

Леон бесконечно уважал независимых людей. Сам, как мог, стремился к независимости. И достремился до того, что главным условием его независимости сделалось разобранное под кроватью ружье.

Он вдруг спохватился, что не знает, о чем говорить с Катей. Об астрологии? Но он плевать хотел на астрологию.

О марксизме-ленинизме? Если в том, как пудрила мозги астрология, увязывающая смехотворные ничтожные человеческие жизнишки с ходом бессмертных планет, было что-то забавное, про марксизм-ленинизм, увязывающий те же самые жизнишки с куда более, чем ход планет, мистическими категориями производительных сил и производственных отношений, сказать этого было нельзя. Он был скучен, как всякая претендующая на правду наглая ложь.

Об одноклассниках? Они были недостойны, в особенности после сегодняшнего, чтобы о них говорить.

Об учителях? Леон и Катя только что видели русского физкультурника и практикантку. Откуда они вышли? Из «Кутузова». Куда направились? Ясно куда. Нет темы для разговора.

О родителях? Леон вдруг подумал, что, в сущности, мало знает собственных родителей. Говорить о родителях, которых мало знаешь, глупо.

О потаенной мысли? Но она была двурогой, как хвост пионера-тетерева на коробке с дробью. Пока он о ней помалкивал, она была его священной тайной, чем-то вроде знаменитого рога Александра Македонского, доказывающего его божественное происхождение. Но заговори Леон о ней, божественный невидимый рог предстанет картонным в блесках маскарадным рожишкой, с помощью которого он, придурок, пытается произвести впечатление. Для легкого застольного разговора мысль определенно не подходила. Да и как бы он потом выглядел? Плакался, что не хочет жить, а все ходит и ходит в школу, учит и учит уроки. Но и носить ее, невысказанную, более было невозможно. Божественный рог, разрастаясь, ворочался в сознании, как бульдозер. «Надо выпить, – решил Леон, – немедленно выпить, иначе я сойду с ума. Если уже не сошел».

Но одиннадцати рублей больше не было.

Не было вообще никаких рублей.

Спрашивать у Кати, есть ли у нее деньги, показалось Леону совсем уж непроходимой мерзостью.

Тут как раз хлопнула входная дверь. Леон вскинулся, как пес. Вдруг кто знакомый, вдруг удастся занять? При этом он почему-то не думал, что Валера – «засохшее кроличье дерьмо» – вряд ли позволит ему еще.

Однако именно это не принимаемое Леоном в расчет препятствие самоликвидировалось. Дверь захлопнулась за уходящим Валерой. Видимо, закончилась его смена.

За стойкой теперь орудовала нечесаная рыжая девица с неприлично покрашенными, толстыми, как у негритянки, хотя сама была белая, губами. «Ну, такая нальет хоть черту лысому!» – обрадовался Леон, хотя нечесаность вкупе с толстыми покрашенными губами далеко не всегда верное свидетельство нравственного падения, готовности наливать хоть черту лысому, хоть несовершеннолетнему. Немало, надо думать, нечесаных, с толстыми покрашенными губами добродетельных девиц ходило по земле.

Угрюмые тренеры и гуттаперчевая аэробистка потянулись к выходу.

Леон небрежно, не поднимаясь с места, остановил последнего, похожего на снежного человека, если тому состричь с лица волосы и обрядить в фирменный спортивный костюм, спросил закурить. Тот, видимо изумляясь самому себе, опустил тяжелую, раскалывающую кирпич ладонь в карман, достал пачку иностранных сигарет. Леон закогтил две штуки. «Может, у него попросить в долг?» – подумал Леон, но не стал кричать в спину.

Дверь за компанией закрылась.

Спички у Леона имелись. Спички пока еще иногда продавались в магазинах и в табачных киосках. Но вскоре должны были исчезнуть вместе со всем, что продается в табачных киосках. Страна соскальзывала к «буржуйкам», керосиновым лампам, телогрейкам, кирзачам, махорке, расплзающейся гнилой селедке, опилочному хлебу, ордерам на габардин, салазкам с дровишками, в которые будут впрягаться зимой энергичные советские люди-кони.

Что-то случилось. Замкнутое пространство «Кутузова» с сомнительными лубочными портретами, тяжелой драпировкой, столами, стульями, зеркалами, пепельницами, стойкой, пустыми и полными бутылками, магнитофоном, рыжей барменшей вдруг предстало покорным воле Леона. То было совершенно новое, доселе не изведенное чувство. Леон понял, почему когда-то зажигал сердца людей «Интернационал»: «Кто был никем, тот станет всем!» Теперь он знал, какой властелиншей сидит в классе Катя Хабло. «Странно, – подумал он, – почему она не сделала себя круглой отличницей?» Леон вознамерился было передвинуть взглядом пепельницу на столе, но спохватился, что незачем растрачивать по пустякам дарованную (надолго ли?) силу. «Пусть только посмеет не налить в долг!» Мысли Леона наконец-то повернулись в нужном направлении.

Он уже почти оторвал зад от кресла, чтобы идти к рыжей барменше, как вдруг ощутил, что пространство, только что покорное его воле, стремительно ужимается, как кое-что в холод-

ной воде. Оказывается, то был всего лишь демонстрационный островок внутри другого (подлинного?) пространства, покорного другой (подлинной?) воле. Переход от пьянящего ощущения силы к трезвящему ощущению бессилия был столь же крут, как съезд на салазках от батарей парового отопления к черной вонючей «буржуйке» посреди комнаты, топимой выломанным из пола паркетом. У Леона закружилась голова.

– Нельзя? – спросил он у Кати. – Но почему?

– Точно не знаю, – пожала плечами Катя, – но точно знаю, что нельзя.

– Жаль, – Леон с тоской посмотрел на сунувшую голову в холодильник барменшу. «Прихлопнуть бы!» – Зачем тогда это?

– Во всяком случае, не для того, чтобы пить на халяву, – улыбнулась Катя.

– Как у тебя получается? – спросил Леон, чувствуя, что пространство, покорное его воле, вновь начинает потихоньку расширяться, как бы поощряя его к разговору. – Откуда это?

– Оттуда, – Катя указала пальцем в потолок.

– Из космоса? – шепотом поинтересовался Леон. – Пришельцы? НЛЮ?

– Не скажу, – вдруг надулась Катя. – Ты не веришь, тебе неинтересно.

– Да верю я, верю, – Леон интенсивно обшарил карманы. – Как так не верю? – вдруг где завалялись деньжонки?

В заднем брючном кармане рука наткнулась на что-то, напоминающее сложенную купюру. Леон так отродясь не складывал, как и отродясь не держал в заднем кармане деньги. Наверное, это была конфетная обертка, а может, билеты в кино, да мало ли что?

– Хочешь посмотреть?

– Да-да, – Леон радостно рассматривал извлеченные из кармана два талона с марками, удостоверяющие сдачу требуемого количества макулатуры для приобретения книг «Азбука секса» неведомого Дж.-Г. Пирса и «Отец» А. Дюма.

Леон понятия не имел, что у Дюма есть роман под названием «Отец». Знал анекдот, как Сталин понуждал Горького сочинить роман «Отец», если уж он сочинил «Мать». Может, ошибка? Нет, на талоне ясно прочитывалось: «А. Дюма. Отец. 1 экз.».

Леон был уверен, что потерял эти талоны! Таким образом, наметились предпосылки к преодолению денежного кризиса. Надо было только выскочить из «Кутузова», добежать до книжного магазина «Высшая школа» – он через три дома, продать талоны и бегом обратно. А уж потом симпатичная рыжая барменша непременно нальет, она не «засохшее кроличье дерьмо», важничать не станет.

– В самом деле хочешь?

– Конечно! – Леон с такой страстью обдумывал талонную операцию, что потерял нить разговора, понятия не имел, чего он от Кати в самом деле хочет. «Чего хочу?» – удивленно вытаращился на нее.

Но было поздно.

Леон редко думал о времени, потому что думать о нем было бесполезно. Думай не думай, оно идет себе и идет. Иногда не идет, а летит, к примеру, на переменах, когда Леон обсуждал нечто интересненькое с приятелями. Иногда, когда скучно, нечего делать, тянется мучительно медленно. Во сне убыстряется сверхъестественно. Будильник только начинал звонить, а к середине звона Леон успевал прожить в утреннем сне целую жизнь, в которой пробуждающий механический звон присутствовал, как рок в трагедиях Еврипида или смех в комедиях Гоголя.

Случалось, время странно замедлялось внутри себя, обнаруживало, так сказать, матрешечный синдром.

Однажды Леон и отец ездили на свои шесть соток оврага в Тульской области. Участок выделили несколько лет назад, строить же дом никак не начинали. Да и невозможно было его построить на крутом обрыве. Разве что-то вроде знаменитого «Ласточкиного гнезда» в Крыму.

Они ехали на машине по шоссе, как вдруг прямо из воздуха возник камень, летящий точно в лобовое стекло. Камень летел очень медленно, как в невесомости, постепенно увеличиваясь в размерах. Леон успел рассмотреть его неровности, кремниевые вкрапления, а вот голову почему-то пригнуть не успел. При этом знал, что потом (когда потом?) будет удивляться: как же так, рассмотреть кремниевые вкрапления успел, а голову пригнуть не успел? К счастью, лобовое стекло выдержало. Глухо крикнув, прогнувшись, распустило по поверхности густую, вспыхнувшую на солнце паутину трещин. Можно сказать, превратилось в калейдоскоп. Должно быть, отцу показалось, что он ведет машину по сказочной стране Эльдорадо, где все из золота, изумрудов и алмазов. Он сначала рассвирепел. Потом успокоился, как-то даже отстраненно полюбопытствовал: «Ну и куда с таким народом? Чего они добиваются?» На стекло-калейдоскоп равнодушно махнул рукой: «Теперь ни одна сволочь не польстится!» Так до сих пор и ездили с калейдоскопом.

Впрочем, это не имело отношения ко времени.

И был еще один момент, когда время изменяло (а может, наоборот, проявляло?) истинную свою сущность, а именно становилось болью.

К примеру, зубная врачиха сверлила Леону зуб. Время исчезало, существовала одна лишь боль. Время робко, как заяц из кустов, выставляло уши, когда врачиха, презрительно посмотрев на бледного, истекающего потом Леона, зычно звала медсестру: «Танечка! Прокладочку для обычной пломбы!»

Вот и все, что успел Леон вспомнить о времени.

Потому что в следующее мгновение ни Леона, ни времени не стало.

Не стало «Кутузова», дома, где помещался «Кутузов», проспекта, на котором стоял дом, города, где был проспект, страны, столицей которой пока еще являлся город, планеты, боящейся этой страны, подумывающей, как бы так под ласковые речи разоружить ее да разделить, а еще лучше как-нибудь незаметно закопать, чтобы больше не бояться и не подумывать.

Не стало ничего.

Один тяжелый свинцовый мрак, как искрами от неведомо где пылающего костра, пронизываемый летящими золотыми точками. Во мраке отсутствовали право, лево, верх, низ, равно как прочие пифагоровы онтологические принципы, за исключением ненависти.

Собственно, свинцовый мрак являлся не чем иным, как материализовавшейся ненавистью, и Леону (точнее, той части его сознания, что участвовала в гипнотическом действе) неминуемо бы пропасть, задохнуться в свинцовых одеялах, если бы золотые точки-искры не сомкнулись вокруг него в сеть-кольчужку, неподвластную мраку.

А как минул мрак, Леон увидел то, что должен был увидеть: ход планет в космическом черно-ледяном пространстве. Планеты катились в сторону далекого чистого света – разинутой солнечной пасти – каждая по своему коридору и в то же время заданно, как разной величины шары в кегельбане, пущенные разными же руками.

Не только космическое шаровое качение было суждено увидеть Леону, но и миллиарды нитей, куда более тонких, чем паутина на стекле-калейдоскопе, длинными, едва видимыми бородами соединяющих планеты, но при этом решительно никак не влияющих на направление и ритм их движения. Планеты и борода-нити находились в разных, как жизнь и смерть, энергетических мирах. Их соединяла воля, господствующая над всеми мирами, объединяющая несоединимое. Леон видел, как она их соединяет, разъединяя, как если бы видел бессмертную душу, отделяющуюся от смертного тела, то есть то, что видеть не дано.

Нити вытягивались и обрывались. На месте оборванных тотчас возникали новые, ни одна не висела оборванной, что свидетельствовало о своеобразном порядке. Нити были разные: хрустальные, золотые, серебряные, красные, белые, светящиеся, темные, искрящиеся, как замкнувшиеся электропровода, горящие, как бикфордовы шнуры, льющиеся, как расплавлен-

ный металл. Сначала сознание отмечало фантастическое их многообразие, а уж затем абсолютную подчиненность ходу планет.

«Оправдание астрологии» – так можно было назвать эту картину. Чуть смещался один из плывущих шаров, и величайшее смятение происходило в нитях: тысячи их обрывались, а какие не обрывались, меняли цвет и качество, вплетались в совершенно иные подвижные нитяные гобелены.

«В чем смысл? – подумал Леон. – Видеть ход планет, знать, что все мы нити в Божьей пряже, в этом нет большого смысла».

И вдруг увидел, как золотые искры-точки собрались в золотой же пчелиный рой, рой составил в точечную, как древнеегипетское изображение, руку, пальцы руки бережно выбрали из разноцветного и разнокачественного мнимого хаоса дорогую им нить, и за мгновение до очередного смещения планет переместили избранницу в иную плоскость. Таким образом она уцелела, хотя ей было назначено прерваться вместе с тысячами, оставшимися на прежнем месте.

«В этом есть смысл, – успел согласиться Леон, – напрасно я не верил в астрологию».

Тут же вновь очутился в свинцовом мраке, только на сей раз с явственными признаками, по крайней мере, одной из пар пифагоровых онтологических принципов, а именно верх – низ. Леон совершенно определенно летел вниз, и его спасение заключалось в том, чтобы схватить летящую ему навстречу вверх золотую искру-точку, по мере приближения обнаруживающую очертания маленького квадрата. К загадочному квадратику была устремлена трепещущая душа Леона. Несколько раз он пытался ухватить. Но квадратик, подобно солнечному зайчику, проходил сквозь бестелесную Леонову руку-сито. Леон вдруг подумал, что свинцовый мрак – это дуло ружья, хранящегося у него под кроватью. Но что тогда светящийся во мраке квадратик? Неужто пуля? Или наоборот – жизнь? Изловчившись, растопырил пятерню навстречу ускользящему светящемуся квадратику, и – о, счастье! – на сей раз удалось! Да, вне всяких сомнений, то была жизнь.

Потому что в следующее мгновение Леон обнаружил себя сидящим над пустой рюмкой в «Кутузове» рядом с Катей Хабло.

– Ну как? – спросила Катя.

– Я был неправ, – пробормотал Леон, удивляясь странному ощущению, что астрологический предмет по-прежнему у него в руке. Не веря, поднес сжатый кулак к глазам, осторожно, как будто там была готовая улететь бабочка, разжал пальцы. На ладони лежали талоны на приобретение «Азбуки секса» Дж. – Г. Пирса и романа «Отец» А. Дюма.

Светящийся квадратик оказался звоном будильника, вплетенным в мгновенный утренний (дневной?) сон.

– Я мигом, – поднялся из-за стола, ласково потрепал Катю по щеке Леон, – одна нога здесь, другая там, не скучай!

– Я никогда не скучаю, – ответила Катя. – У меня всегда одна нога здесь, другая там.

Прозвучало двусмысленно, хотя Леон знал, что именно она имела в виду.

– Эй, рыженькая! – щелкнул пальцами, пролетая мимо стойки. – Если девочка попросит, плесни, о кей? – по исполненному гневного изумления взгляду рыжей барменши понял, что та до сих пор не подозревала об их присутствии в заведении. – Я с Валериком расплатился, – рассмеялся Леон, – я всегда плачу вперед.

Через пару минут он был в книжном магазине «Высшая школа».

Периодически промышлявшая здесь ободранная бабушка (сердце ее принадлежало пустым бутылкам, но не брезговала она и макулатурой, и прочим вторсырьем, включая такое экзотическое, как моча беременных женщин) как раз получала от почтенного гражданина в очках и в шляпе (советского интеллигента) два червонца за толстого зеленого Солженицына.

Произведя нехитрое математическое действие (книга стоила семь рублей), Леон установил косвенную цену талона – тринадцать рублей. Но следовало учитывать то обстоятельство, что ободранная бутыльно-сырьевая бабушка продавала непосредственно книгу, то есть товар. Леон же – право на приобретение товара, то есть своего рода вексель. К тому же его талоны имели мятый, непрезентабельный вид. Да и продать их можно было только знающему человеку. Многие из стоящих в магазине плохо разбирались в талонах.

Леон сунулся было к печальной, одинокой женщине, задумчиво поглядывающей на «Азбуку секса», но она оказалась из тех, кто повсюду подозревает обман, а потому почти всегда упускает собственную выгоду. Не только в книжных делах. Внимательнейшим образом изучив талон, дама тонко улыбнулась, дав понять Леону, что ее не проведешь, вернула.

– Вы не волнуйтесь, – доверительно сказал Леон, – отдадите деньги, когда возьмете книгу. Я уступаю очень дешево.

Но дама только плотнее прижала к себе сумочку.

Не состоялась продажа талонов и спортивноватому, в шапочке-петушке мужчине, хотя тот изъявил стопроцентную готовность. Леон еще только излагал условия, а дядя уже согласно кивал, улыбаясь поглядывая на Леона.

– Как-как, говоришь, фамилия этого? Дюба? – задал он странноватый для посетителя книжного магазина вопрос.

Леон понял: нет разницы, отдать ли чек в винном магазине алкашу, здесь – талоны спортивноватому дяде.

– Меня ждут, я сейчас! – бочком протиснулся к выходу. Где, с грустью подумал Леон на проспекте, где золотая рука, направляющая мою нить?

Золотой, направляющей нить руки не было.

Леон как-то враз смирился, что талоны не продать.

Решил вообще не возвращаться в «Кутузов».

Вспомнил про ружье под кроватью. Раньше удерживало, что не все в жизни изведано. К примеру, водки не пил. Нынче выпил. Но это было не то, ради чего стоило оставаться. Главное, подумал Леон, наиглавнейшее. Как без этого? Мне скоро исполнится пятнадцать лет.

Он обратил внимание, что из подворотни ему делает знаки некий Дима – человекообразное существо двухметрового роста, весом в два центнера, поросшее густым черным волосом, с явными признаками вырождения или душевного заболевания на огромном, как страшная карнавальная маска, лице.

Несмотря на, мягко говоря, нерасполагающую внешность, Дима успешно занимался книжным бизнесом. Более того, разбирался в книгах, по-своему их любил. Первейшим для него делом было сразу насмерть не перепугать потенциального покупателя, которому трудненько было распознать в Диме знатока литературы и букиниста. Дима обычно держал в руках, как декларацию о намерениях, какое-нибудь дефицитное издание, скажем, «Так говорил Заратустра» Ницше или «Современный американский детектив».

Леону приходилось вступать с Димой в деловые отношения. Дима выказывал себя толковым и ненаглым партнером. Он был неглуп, разговаривая с Димой, Леон забывал про его не вполне человеческую внешность.

Еще на заре перестройки, когда не было человека хуже Сталина, Дима высказал соображение, что собрание сочинений Сталина – самовозрастающий капитал.

Леон подумал, что Дима преувеличивает, но недавно наткнулся на объявление в «Книжном обозрении»: «Куплю прижизненное собрание сочинений Сталина. Цена значения не имеет. А. Гогоберидзе, Тбилиси».

«Плюсквамперфектум, давно прошедшее, как говорят немцы, – усмехнулся Дима, когда Леон рассказал ему про объявление. – Полный прижизненный Сталин сейчас идет за доллары». – «Отчего же не переиздадут?» – удивился Леон. «Так, как раньше, нынешним без-

грамотным ублюдкам не издать, – ответил Дима. – В старых книгах овеществлена эпоха, а в нынешних – стремление слупить деньги. Кто хочет Сталина, хочет настоящего Сталина, не станет брать дешевку».

Вероятно, Дима занимался не одной лишь книжной торговлей. Какие-то еще мгновенные операции он проводил в подворотне, в беседке соседнего дома. Но это уже не касалось Леона.

– Сложности? – Дима протянул руку.

Рука Леона ушла в его руку, как в мягкую, не очень чистую подушку.

– Да вот, – Леон показал талоны.

– Ну и?

– Оба за четвертак. Я спешу, – вздохнул Леон.

– Не смею задерживать, – ответил Дима. Разговор, таким образом, был закончен. Но и Леон и Дима знали, что это не так.

Леон пошел прочь из подворотни, рассчитывая, если Дима не окликнет раньше, остановиться через семь шагов, оскорбленно крикнуть: «Сколько? Ну!»

Дима окликнул на шестом шаге.

Они миновали подворотню, устроились во дворе в беседке.

– Я бы элементарно толкнул и за тридцатник, – сказал Леон, – только нет времени. Девушка ждет в «Кутузове» с пустым стаканом.

Лицо Димы пришло в движение, и Леон неуместно и грязно задумался: как, интересно, обстоят делишки с девушками у Димы?

– Сам Бог послал меня тебе, – порывшись в огромном, не иначе как изготовленном в прошлом веке народовольцами для переноски тогдашних несовершенных бомб, портфеле, Дима извлек бутылку «Калгановой горькой».

Леон подумал, что Дима заблуждается насчет Бога. Или не заблуждается. Просто пока еще не принято говорить: «Сам сатана послал меня тебе».

Конечно же, был соблазн немедленно обменять талоны на «Калгановую». По количеству спиртного и градусам эта бутылка значительно превосходила все, что (при самой удачной реализации талонов) Леон сможет заказать (если может) в грабительском «Кутузове». Но... где пить? В «Кутузове» вряд ли. Не в подъезде же угощать Катю Хаблю? Ладно бы французским шампанским или португальским портвейном, но не «Калгановой» же горькой! Леон почувствовал себя невольником чести.

– Двадцать три, – сказал он упавшим голосом, – бери их за двадцать три, Дима, – протянул ладонь, на которой, как бабочки с поникшими крыльями, лежали талоны.

– Двадцать, – вздохнул Дима, – исключительно из уважения к тебе. Понимаю: разливать в баре под столом несолидно. Кто разливает под столом, не ходит в бар. Но мы живем в мире смещающихся понятий. Я бы мог толкнуть ночью «Калгановую» любому таксисту за полсотни. А талоны? Кому нужны ночью талоны?

Сраженный этой простой, как все гениальное, мыслью, Леон сам не заметил, как отдал талоны, взял два червонца. И только потом подумал, что предполагаемая высокая ночная цена на «Калгановую» у таксистов решительно никак не связана с навязанной Димой низкой дневной ценой на книжные талоны.

– В сущности, наш спор о пяти рублях смешон, – Дима уже относился к действительности как всякий, только что поймевший пусть небольшую, но выгоду, то есть иронично-пессимистично, как она, действительность, того и заслуживала. – Гораздо смешнее, чем спор об унтаре Грише, есть такая книга, я, правда, не читал. Пять рублей в нынешней жизни – ничто!

– То-то ты торговался, – Леон посмотрел на часы. Как выбежал из бара, казалось, целую жизнь прожил, а минуло всего семь с половиной минут.

– Пять рублей ничто, – между тем загадочно продолжил Дима, – два раза по пять – опять же ничто, ничто плюс ничто равняется ничто, то есть червонцу, что одно и то же, – весело подмигнул Леону. – Даже не знаю: почему хочу тебя выручить? Ты мне не друг, не брат.

– Не сват, – Леон догадался, что в народовольческом портфеле есть еще что-то и за это «что-то» Дима хочет поиметь с него десятку.

– СПИДа не боишься?

– СПИДа? – растерялся Леон.

– Времена нынче, – покачал головой Дима, – а ты парень горячий.

– Огонь, – Леон зачарованно следил, как подушечная Димины рука тонет в портфеле.

– Твой размерчик, – расправил блюдо-ладонь Дима. Там лежали два красивых ярких пакетика, определенно иностранного производства. – В каждом по паре, – пояснил Дима, – как Бог заповедал, каждой твари по паре. Гарантированный противоспидовый комплект. Грузины по столынику отваливают, а я всего за червонец хочу спасти твою молодую душу.

Леон подумал, что только такого – за червонец – спасителя и мог послать ему Бог, имя которого Дима уже истрепал все.

– Хватай, пока я не передумал! Такие штуки раскрепощают, тысяча и одна ночь!

С одной стороны, Леону было лестно, что Дима (хоть Леон и понимал, что это не так) считает его парнем, который не просто так сидит с девушкой в баре. С другой – понимал, что вряд ли ему понадобятся иностранные, должно быть, в самом деле надежно предохраняющие от СПИДа изделия. Какой-то тут был перебор. Двадцать два. Катя Хабло совершенно не производила впечатление злостной носительницы вируса СПИДа. Если, конечно, ее не заразили в роддоме или в больнице. Но тогда бы она вряд ли дожила до пятнадцати лет. Не отделаться было от ощущения, что святое дело – благодарение – вырождается в мерзопакостный фарс.

– Спасибо, Дима, – с трудом, как шлагбаум на переезде, отвел Леон тяжелую протянутую руку. – В случае чего воспользуюсь советскими. Они дешевле.

– На каждом переезде есть щит, – мистически продолжил железнодорожную тему Дима, – «Выиграешь минуту – потеряешь жизнь». Но бегут. Так и тут. Червонец дороже жизни. Отчего человек так равнодушен к собственной жизни?

Леон решил оставить Диму в беседке размышлять над вечным этим вопросом, но тот с неожиданным проворством выхватил из портфеля какой-то тюбик, добавил к лежащим на ладони пакетикам.

– Выручать так выручать, – вздохнул Дима, – по дружбе так по дружбе. Это подарок. Давай червонец и забирай! Пока я не передумал!

– Это что? – Леон, как дикарь к бусам, потянулся к разноцветному тюбику с надписью, которую можно было перевести на русский как «Препарат Х».

– Стимулирующая паста, – ухмыльнулся Дима, – вводишь девчонке и...

– Вводишь? – удивился Леон. – Каким образом?

– Там написано, – Дима поднес ладонь к глазам-биноклям, выказал себя изрядно сведущим в (английском?) языке. – Паста Х наносится тонким слоем на презерватив либо вводится непосредственно во влагалище. И девчонка превращается в зверя, – добавил от себя.

– Ты пробовал? – покосился на Диму Леон.

– Понимаешь, какая штука, – доверительно склонился Дима, – никак не могу подобрать.

Леон в ужасе отшатнулся, не желая слушать, чего именно не может Дима подобрать. Как загипнотизированный, протянул руку. Яркие пакетики и тюбик с Диминой ладони-подноса пересыпались на ладонь Леона. Леон подумал, что его снобизм нехорош. Ведь сам спросил у Димы. Но так уж устроен человек. Согрешит в мыслях (или не в мыслях) – и в кусты.

Теперь Леон мог внимательно рассмотреть выполненные в стиле комиксов рисунки на пакетиках. Один – как надевать изделие на... язык – озадачил и смутил Леона.

– А ты думал, – усмехнулся Дима. – Язык тоже орудие... пролетариата!

– Не спутать бы, – пробормотал Леон, – когда буду наносить тонким слоем пасту.

– Брезгливость в интимных отношениях, – Дима выказал себя внимательным читателем «Азбуки секса» неведомого Дж.-Г. Пирса, – не что иное, как бескультурие! Эти современные девчонки, – снова полез в бездонный похабный (лучше бы, как народоволец, носил в нем бомбу!) портфель, – у меня тут...

Леон быстро сунул Диме червонец и, не дожидаясь, пока он извлечет из портфеля очередную диковинку, покинул беседку.

Отворяя тяжелую дверь «Кутузова», Леон подумал, что денег у него сейчас на рубль меньше. Воистину, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Чего не скажешь о двери. Но обстоятельство, что денег на рубль меньше (а не то, что дважды нельзя войти в мифическую древнегреческую реку), не сильно огорчило Леона. Почему-то он был уверен, что приобретенные вещи совершенно свободно, как доллар с маркой, конвертируются со спиртными напитками.

Бар был по-прежнему пуст.

Рыжая барменша разговаривала в подсобке по телефону. «Да? – услышал Леон сквозь приоткрытую дверь недовольный ее голос. – В гробу я это видела!»

То, что невидимый абонент сообщал барменше не самые приятные новости, ставило под сомнение дальнейшее – и без того на птичьих правах – нахождение в баре Кати и Леона. Людям свойственно срывать зло на других. Как правило, зависимых от них. Вряд ли бармены вообще и рыжая толстогубая барменша в частности являлись тут исключением.

– Анабазис прошел успешно? Нас выгоняют, – подтвердила Катя Хабло.

Леон с трудом припомнил, что так называлось сочинение древнего историка Ксенофонта о возвращении наемного греческого отряда из глубин Персии. самого сочинения Леон не читал. Но не зря, не зря листал Философский энциклопедический словарь, многократно входил в эту сомнительную реку. Во время анабазиса греки не только сражались, но и торговали с дикарями.

– Вполне, – Леон подумал, что очень даже вполне. Он избежал сражения, совершил торговый обмен, благополучно вернулся. – Хорошо бы нам теперь продолжить.

– Черта лысого вы тут у меня продолжите! – рыжая барменша подкралась незаметно и теперь наслаждалась произведенным эффектом.

Я думал, она хоть черту лысому нальет, удивился Леон, но черта лысого я думал, что она нас выгонит!

– Вон отсюда! – барменша находилась во власти низменных инстинктов. Самое удивительное, она не только им не противилась, но, напротив, разжигала в себе. У нее было искаженное представление о жизни. Она получала удовольствие, оскорбляя других.

Тут зазвонил телефон, и ей пришлось вернуться в подсобку.

«Да, – недовольно (видимо, она всегда разговаривала по телефону недовольно) рывкнула в трубку. И после долгой паузы (опять недовольно): – Беру. Ты же знаешь, я всегда все беру!»

– Вы еще здесь? – выскочила как ошпаренная из подсобки.

Как будто Леон и Катя были дымом и могли раствориться в воздухе за пять секунд телефонного разговора.

Сказанное «все беру» давало призрачный шанс. Рыжая барменша была настоящим вместилищем порока. Только как ее звать – на «ты» или «вы» – Леон не мог решить.

– Смотри... те, что у меня, – упреждая грозный ее выход, подбежал к стойке. Хотел показать только «Препарат Х», а вытащил все разом.

– Косметика? – заинтересовалась барменша.

– Можно и так сказать, – смутился Леон.

Она с изумлением рассматривала изображенный на пакетике язык в резиновом чехольчике. Он был отвратителен, как грязное адское пламя, красный зачехленный язычишка почему-то с крупными пупырышками на конце.

Леон чувствовал себя змеем-искусителем, ввергающим Еву в грех. Только он был вынужденным змеем. Рыжая барменша тоже не очень походила на Еву. А если походила, то не на ту, которую Бог изгнал из рая, а на власть пожившую на Земле. Такую Еву невозможно было изгнать. Она сама могла изгнать кого угодно откуда угодно.

Что и делала постоянно.

– Сволочь! – завопила она. – Ах ты сволочь! Что это за тюбик?

Назначение остального она, стало быть, уяснила.

– Теперь ты этого никогда не узнаешь, лимитчица! – мстительно отступил от стойки Леон.

Так мог бы ответить Еве змей-искуситель, если бы Ева жадно не вгрызлась в яблоко, а взялась бы гневно и целомудренно топтать его, а заодно и змея.

Библейские сюжеты текли, как реки. Только что Леон был змеем. А вот уже изгоняемый из рая, если допустить, что «Кутузов» – рай, Адам.

Катя Хабло тем временем вышла из негостеприимного рая на проспект. Сквозь приоткрытую дверь внутрь проник косой солнечный луч. То была нить судьбы. Тяжелая бесшумная дверь, как топор, перерубила луч. Делать в баре больше было нечего.

– Сколько? – жившей по принципу «все беру» барменше не понравилась легкость, с какой отказался от сделки Леон. Да и власть ее над ним, уходящим из бара, сделалась призрачной, как власть двери над солнечным лучом. Луч сунется в другую дверь. – Пятерку?

– Пятерки я получаю в школе, – цинично усмехнулся Леон. – Давай, рыжая, бутылку.

Барменша ловко, как фокусник из рукава, поставила на стойку бутылку чернильного «Сапери». –

– Его вчера давали в магазине по три семьдесят, – поморщился Леон. – Давай шампанское. Или я ухожу! – шагнул к двери.

– Катись, – спокойно отозвалась барменша.

Но Леон знал, каким лесным пожаром бушует сейчас в ее душе «все беру».

В эту игру он уже сегодня играл с Димой. Взялся за ручку двери.

– Только объясни, – что-то даже человеческое послышалось Леону в голосе рыжей барменши. – Что за тюбик?

Человеческий голос, каким вдруг заговорила барменша, сделал непростым предстоящее объяснение. Леон подумал, что торговля, обмен – древнейшая форма человеческих отношений. Главное тут – взаимная симпатия, благожелательность, а вовсе не подлость, надувательство и обман. Иначе человечество не поднялось бы до торговли, а погрязло в тысячелетней войне. Еще Леон подумал, что в той торговле, какая сейчас развернулась в стране, очень сильны элементы войны. Он чувствовал себя именно таким, военизированным, продавцом, сбывающим сомнительный товар. Не утешало и что барменша была не из самых простодушных покупательниц. «Мерзость, – подумал Леон, – все мерзость, и я мерзость».

– В общем, так, старуха, – скороговоркой, чтобы быстрее с этим покончить, забормотал Леон, – даешь мужику, чтобы он натер свой. Как корку чесноком. Можно поверх презерватива, можно живьем, и балдеешь. Эротический влагиалищный стимулятор, должна бы знать! – Леон не был уверен, что правильно объяснил, но всякие заминки тут были неуместны.

– Боже мой, – испуганно выставила барменша на стойку бутылку шампанского. – Сколько тебе лет? В какой ты ходишь класс?

– В какой надо! – буркнул Леон, пряча бутылку в школьную сумку. – В рабочий класс! – злобно зыркнул на барменшу.

Идучи к двери, затылком ощущал ее скорбный, жалеющий, почти что материнский взгляд. Еще и блудный сын, подумал Леон, которому некуда возвращаться, потому что неоткуда уходить.

Тяжелая дверь «Кутузова» закрылась за Леоном.

На проспекте светило солнце, радиоактивно зеленели листья на деревьях, проносились машины. Редкие посетители входили в аптеку и немедленно выходили. Видимо, презервативы и бандажные пояса закончились. Точно так же – с немедленным выходом – люди входили в винный на другой стороне.

Катя Хабло вроде бы удалялась от Леона по сухому весеннему асфальту. Но медленно. Так уходят, когда не хотят уходить. Леон неожиданно почувствовал, как красива жизнь и одновременно как она уходяща. Он не знал, куда, почему, зачем уходит жизнь. Скорее всего, жизнь уходила от себя и красивой была в сравнении с собой же, какой ей предстояло стать. Грусть Леона происходила оттого, что рыжая барменша заговорила человеческим голосом. Человеческое невидимо путалось под ногами, мешало жить. Леон догадался, что жизнь красива уходящим человеческим. И уходяща – человеческим же.

Он в два прыжка догнал Катю Хабло.

Явилась мысль позвать ее к себе, распить шампанское, а потом уложить на кровать, под которой хранится в чехле разобранное ружье, в свинцовое дуло которого Леон заглядывал, как в некий оптический прибор, показывающий конец перспективы.

Мысль решительно овладевала Леоном. После ее воплощения ничто не могло помешать Леону самому сделаться частью пейзажа конца перспективы.

Разве только родители.

В последнее время преподавание научного коммунизма в высших учебных заведениях разладилось. Родители все больше времени проводили дома. Из их разговоров Леон уяснил, что они не возражали читать курсы чистой философии. Но почему-то студенты не желали слушать чистую философию из уст преподавателей-марксистов. Пока еще родители получали зарплату.

Однако в расписании занятий на следующий год научный коммунизм уже не значился.

Прямо на ходу Леон позвонил из уличного висячего стеклянного ящика домой. Удивительно, ящик был цел, аппарат исправен, гудок явственно различим. Только вот панель с наборным диском была выкрашена из краскораспылителя в черный траурный цвет. Наверное, кто-то, получив от девицы отказ в свидании, взял да и выкрасил с горя панель. Хотя вполне мог к чертовой матери разбить или оторвать трубку. Леон подумал, что бытовая культура, пусть черепашим шагом, но входит в сознание юношества. Об этом свидетельствовала и сохранность соседнего висячего ящика. Там панель была выкрашена в нежно-розовый (девица согласилась) цвет.

Мать мгновенно схватила трубку, произнесла «да» с такой надеждой, словно ожидала звонка, извещающего, что временная заминка с научным коммунизмом истекла, он вновь наступает по всем фронтам. Или на худой конец восстановлен в правах на следующий семестр.

– Задержусь немного после школы, – сказал Леон, хотя каждый день задерживался сколько хотел и никогда не извещал об этом родителей. – Вы там без меня не скучайте.

Дом отпадал.

«Где?» – подумал Леон.

Катя опять немного ушла вперед и опять не так, как уходит человек, который действительно хочет уйти. Они шли по проспекту в обратную от дома сторону.

Хожение следовало немедленно прекратить. Хожение отнимало волю, перегоняло ум в ноги, ноги же бесцельно разбазаривали ум. Однажды Леон с другой девчонкой проходил по

городу пять часов кряду. Под конец бессмысленной прогулки он до того отупел, что поинтересовался у девчонки, продают ли в Уфе (она там была летом на каникулах) мороженое.

– С меня шампанское, – напомнил Леон.

– Я думала, уже все, – равнодушно отозвалась Катя.

– Плохо ты обо мне думаешь. Мы только начинаем. – Леона огорчило ее равнодушие. Единственное, чем он мог его объяснить, – тем, что Катя знала все наперед.

В то же время Леон совершенно точно знал, что все на свете предвидеть невозможно. В противном случае терялся смысл существования Бога. Или же этот смысл становился иррациональным.

Бог все знает наперед, но надеется, что что-то случится вопреки и это «что-то» послужит во благо.

– Вот здесь, – похлопал Леон по вспучившемуся боку сумки.

– Что там? – Катя, похоже, не догадывалась.

«В сущности, предвидение – бесполезный дар, – подумал Леон. – Каждый человек знает, что умрет, но при этом отнюдь не является ясновидящим. К тому же люди не верят в предсказания. А если верят, это мало что меняет, ибо судьба, как материя, первична, предсказания же, как дух, вторичны.

Ее дар, – покосился на Катю Леон, – темен, и, пока я относительно светел, я ей ясен, она видит меня светленького на своем темном экране. Но уйди я во тьму, я стану для нее невидимым, ее ясновидение для меня тьфу! Вот возьму сейчас иогрею ее бутылкой по башке! Разве такое можно предвидеть? Следовательно, благо... В чем благо? Благо в том, – помимо своей воли и совершенно вразрез с недавними мыслями подумал Леон, – чтобы не пить шампанского, чтобы немедленно разойтись по домам!»

– Шампанское, – с трудом, как будто из свинца стал язык, произнес Леон, – у меня здесь бутылка. Я думаю, ее надо выпить. Только не представляю где.

– Где угодно, – пожала плечами Катя. – Мир у наших ног.

Леон этого не чувствовал. Мир был желчным потертым пенсионером, готовым застукать в подъезде и устроить скандал. Молодежной бандой из Кунцева, гуннами, все сметающими на своем пути. Маньяком с мужественными чертами лица (в газете был помещен фоторобот), второй месяц насилующим и убивающим женщин на юго-западе Москвы. Хмельным злобным милиционером, так и высматривающим, кому бы съездить по морде. Может, мир и был у чьих-то ног. Но это были не ноги Леона.

– Любишь выпить? – подмигнул Леон.

– Трудно сказать, – ответила Катя. – Сегодня пью второй раз в жизни.

– А первый?

– Красивая бутылка была, – сказала Катя. – Брусничный ликер.

– И... много? – почему-то шепотом поинтересовался Леон.

– Всю бутылку, – засмеялась Катя.

– Обошлось? – вопрос беспокоил Леона. Не хотелось, чтобы родители заметили. Мало того что отменили научный коммунизм, так еще сын пьянствует!

– Обошлось, – ответила Катя. – Я одна была дома. Спать легла. Только вот...

– Что? – встревожился Леон.

– Изрезала в ленточки школьное платье.

– Зачем?

– Не знаю.

– Ножницами? – уточнил Леон. Катя кивнула.

Некоторое время шли молча.

Леон подумал, что вопрос сродни: продают ли в Уфе мороженое? Сейчас, наверное, уже не продают, подумал Леон.

Хождение следовало прекратить.

– Но ведь это после целой бутылки ликера, – сказал Леон. – После шампанского на двоих мы не будем резать платье ножницами.

– У нас нет ножниц, – серьезно ответила Катя.

– Откуда ножницы? – Леон вдруг почувствовал холод, как если бы асфальт под ногами превратился в стальные ножницы, а он бы шел босой.

У него были ножницы!

На прошлой неделе взял на урок труда да так и таскал с тех пор в сумке. Хотел выложить сегодня утром, а потом почему-то подумал: пусть лежат, мало ли чего. Леон поправил на плече сумку. Ножницы немедленно дали о себе знать, строго звякнули о бутылку. Леон вспомнил, что, решая, оставлять или не оставлять ножницы в сумке, он почему-то подумал о ружье под кроватью и еще хищно так, помнится, щелкнул ножницами в воздухе, как бы перерезая невидимую нить.

Последние сомнения ушли.

Леоновой нити было назначено прерваться.

Он как очнулся после сна на ходу. «Вот как? Тогда никакого шампанского, никаких ножниц, будем ходить, пока я доподлинно не выясню: продают ли в Уфе мороженое? Мне некуда спешить!»

И в этот же миг хождение закончилось.

Они брели вдоль чугунной ограды, разделяющей детскую площадку и проспект. Площадка была совершенно пуста. Два прута – силой планет, не иначе! – оказались разогнутыми ровно настолько, чтобы сквозь них могли проскользнуть Леон и Катя.

Тут стояли деревья, устлавшие землю полосками тени. На полосатой, как тельняшка, земле под деревьями солнечные полосы были шире теневых, отчего тельняшка представлялась как бы импортной. Голубые цветы, поздние для подснежников, ранние для васильков, глазастые безымянные цветы росли под деревьями.

Цветущий мир лежал у ног Леона и Кати.

Со стороны двора, естественно, никакого ограждения не было. Никто пока со стороны двора не предпринимал попыток вторгнуться на территорию площадки. Можно было устроиться прямо на сумках под деревом, да и прихлебывать, передавая друг другу бутылку. Но это было бы слишком демонстративно.

Леон и Катя поднялись в просторный деревянный теремок, оказавшийся внутри чистым, сухим и солнечным сквозь щели в крыше, но густо изукрашенным похабщиной. Настоящие резные и графические (углем) фрески помещались на стенах. Леон пожалел играющих тут детей. Единственным утешением могло служить, что они не умеют читать. Однако изобразительная динамика рисунков была такова, что уметь читать было совершенно необязательно.

Даже Леон, притерпевшийся к разного рода похабщине, растерялся. Бутылка выстрелила, пробка заколотилась в сухом деревянном пространстве, как горошина в погремушке. Белопенная струя свечой встала над бутылкой, достигла потолка, пролилась оттуда сладким (райским?) дождем. Леон (не пропадать же добру!) припал к бутылке. Наверное, он был похож на рака с вылезшими глазами, с льющейся из ушей (если у раков есть уши и если они так кидаются на шампанское) пеной. Как будто джинн сидел в бутылке. Укротить его было не так-то просто. Но Леон, подавившись пеной, возненавидев шампанское на всю оставшуюся жизнь, укротил. Передал бутылку Кате.

Пить в похабствующем теремке было несподручно. Леон и Катя плотно поместились на верхней ступеньке, уже на воздухе, но еще под крышей теремка. Бутылка так и летала между ними. Леон подумал, что со стороны они должно быть напоминают горнистов, поочередно дующих в немой зеленый горн.

Но как-то быстро иссякла немая песня. Леон, пусто глотнув, перевернул бутылку, не веря, что она пуста. По недавнему напору пены бутылка казалась бездонной.

Он был совершенно трезв, только очень легок. Как будто железная, стучащая в виски кровь превратилась в эту самую, ударившую в потолок похабствующего теремка, пену.

Перешли к поцелуям.

Леон имел небогатый практический и богатейший теоретический опыт. Но быстро уяснил, что до Кати ему далеко.

Спасти уязвленное мужское самолюбие можно было, только совершив героический поступок.

Леон с воплем, как это обычно делали любимые им Сталлоне и Шварценнегер, скатился со ступенек теремка. С бутылкой наперевес, короткими (с периодическими скульптурными застываниями), перебежками устремился к чугунной ограде. Не добегая, залег за скамейкой, зорко просматривая из укрытия проезжую часть.

Подходящая цель долго ждать себя не заставила.

Черная правительственная «Чайка» по какой-то причине сместилась в неподобающий себе крайний правый ряд. Из подворотни высунулся грузовик. «Чайке» пришлось притормозить, прижаться к тротуару.

Поднявшись во весь рост, страшно крикнув, Леон метнул в «Чайку» зеленую гранату, десантически прокатился по земле, вскочил и, петляя на низких ногах, успевая на бегу рвать безымянные голубые цветы, вернулся к теремку.

– Извини, что не в целлофане, – протянул Кате букетик, напоминающий пучок рассады.

Между тем в чугунную ограду втиснулись не сулящие хорошего физиономии. Леон подивился, сколь объемны эти, не вмещающиеся между черными полосами прутьев, сквозь которые он и Катя легко пролезли, физиономии. «Ишь, разъелись, как черви в муке!» – подумал Леон. Несколько рук указующе протянулись в их сторону. Тут же с визгом притерлась черная «Волга» в антеннах, как дикобраз в иглах. Спортивного вида люди в костюмах темпераментно рванули в ближайшую подворотню. Мелькнула милицейская фуражка, определенно не поспевающая за быстрыми костюмами.

Все это не понравилось Леону.

– Надо уходить, – сказала Катя, – ты совершил диверсию, напал на члена президентского совета, это террористический акт!

– Какого члена? – удивился Леон. – Где член?

– В машине. Он живет в этом доме. Точнее, живет-то на даче, а сюда иногда заезжает.

– Откуда знаешь? – Леон понял, что не быть ему с Катей на равных. Ни по части поцелуев. Ни в остальном.

– Он заказывал матери гороскоп на экономическую реформу.

– На что? – переспросил Леон, и тут до него дошло: еще минута, и придется вести другие – не столь приятные и познавательные – разговоры в другом, скорее всего, с зарешеченными окнами месте и с мордобоем.

Пенная легкость, по счастью, не выветрилась из Леона. А Катя всегда была невесомой, как ясновидение, в которое никто не верит. Леон держал ее за руку, а казалось, держит рвущийся в небо воздушный шарик.

Они, подобно барьерным бегунам, перепрыгнули через невысокий заборчик, пролетели насквозь боковую арку, оказались в соседнем с тем, где, дачно отсутствуя, квартировал член президентского совета, дворе. Оставалось пересечь двор, уйти на набережную.

Ну а на набережной...

Двор был безлюден и просматриваем во все стороны. Пересечь его представлялось несложным.

– Нет! – вдруг остановилась Катя. – В подъезд!

– Зачем? – заупрямился Леон, но так как Катя уже была в подъезде, последовал за ней.
– Наверх, наверх! – пропела Катя.

Они оказались в плохо освещенном герметичном лифте, как два жучка в спичечном коробке.

Лифт медленно, через силу, поплыл вверх. Леону вдруг открылось, что вся его жизнь – сколько прожил и сколько осталось – такой же тесный, плохо освещенный лифт, ползущий неизвестно куда. И, в отличие от нынешнего, в том лифте он один как перст. И нет кнопок, чтобы нажать. Не оставалось ничего, кроме как собрать лежащее под кроватью ружье да разнести к чертовой матери стенки опостылевшего лифта-коробка. «Только тогда, – подумал Леон, – я превращусь из живого одинокого жучка в жучка мертвого и одинокого. Что это даст?»

Катя в полутьме казалась золотокрылой мерцающей бабочкой, единственно из каприза угодившей в коробок с невзрачным обреченным жучком. Так королева спускается в подземелье проститься с милым ее сердцу узником. Бумажная балерина из сказки Андерсена летит в огонь к оловянному солдатику.

Леон обнял ее, притиснул к обшарпанной с подкопченными кнопками панели, подумал, что далеко не случайно лифт – извечное место насилий и добровольных совокуплений. Замкнутое движущееся пространство вне Божьего мира. Оно немедленно заполняется грехом, мерзостью и... жалостью.

Лифт остановился.

Леон и Катя ступили на гулкий каменный пол лестничной площадки. Со всех сторон смотрели крашенные и обитые дерматином, с крепкими и расшатанными, как пародонтозные зубы, замками двери. Из замкнутого пространства лифта Леон и Катя угодили в мир закрытых дверей.

То был естественный путь людей.

Закрытые двери вели в замкнутые пространства квартир, где, возможно, имелись кое-какие ценные вещи, но отсутствовало то, что делает пространство разомкнутым, а людей свободными.

«Я никогда не буду вором!» – содрогнулся Леон, такое отвращение вызывали у него закрытые двери. Открытые, впрочем, вызвали бы еще большее отвращение.

Они поднялись по лестнице к последнему окну. Двор открылся, как узкая асфальтовая ладонь с воровато поставленными машинами, песочницами, мусорными бачками.

Будь они внизу, конечно бы, не увидели, а сверху увидели, что во всех арках одновременно возникли похожие, как близнецы-братья, спортивные люди в костюмах, взявшиеся прочесывать двор. Большая их часть двинулась дальше, но некоторые остались во дворе, сразу вдруг сделавшись какими-то неприметными.

– Наверное, нам придется уходить не сейчас и по одному, – вздохнула Катя. – Как с большевистской конспиративной сходки.

– Гляди-ка ты, как охраняют члена президентского совета! – Леона обрадовало, что не сейчас. Время, еще недавно серое и постылое, обрело пленительную прелесть. То была прелесть последнего глотка, если бы в бутылке оставалось шампанское. Нечистый плиточный пол лестничной площадки, серо-зеленая динозавровая нога – труба мусоропровода, подоконник, словно леопардовая шкура, в черных пятнах от затушенных окурков, окно, смотрящее на асфальтовый колодец двора внизу, синий небесный прямоугольник сверху – все (сегодня уже не в первый раз) показалось Леону невыразимо красивым, хотя, конечно же, решительно ничего не было красивого в заурядном урбанистическом пейзаже.

Леон шагнул к Кате.

Злой женский голос внизу произнес: «Будь ты проклят, алкаш проклятый! Чтoб тебе убится, попасть под машину, чтoб тебя... в Чернобыль послали!» После чего дверь захлопнулась, невидимый же «проклятый алкаш», вызвав лифт, разразился таким сухим, разрывающим

легкие кашлем, что Леон подумал: напрасно женщина кличет на пьяную голову дополнительные несчастья – с таким кашлем люди долго не живут.

– И какой, интересно, гороскоп у экономической реформы? – спросил Леон. Целоваться под трескучий, как дрова кололи, кашель было невозможно. А лифт-коробок не спешил унести алкаша вниз. – Хотя, – сам же и ответил, – если человека охраняет свора бездельников, а он не протестует, какую он может придумать реформу? Какую-нибудь мерзость!

– Не скажи, – возразила Катя, – очень даже получился благоприятный гороскопчик. За малым исключением. Сатурн не дотягивал до нужной фазы.

– Сатурн? – усмехнулся Леон. Он не был астрологом, но знал, что семь планет Солнечной системы бессильны помочь экономической реформе, как бессильны возродить Фаэтон, мифическую планету между Землей и Марсом, которая будто бы была, да развалилась.

– Сатурн – свинец, – объяснила Катя.

– Со свинцом нескладушки? В нашей стране? Не верю!

– Свинец свинцу – рознь, – сказала Катя. – Есть астрологи, допускающие замену астральных элементов земными. Но это уже не классическая астрология. Неоастрология. Кстати, мама считает, что она имеет право на существование.

– Почему бы и нет? – Леон тоже не видел ничего предосудительного в существовании неоастрологии.

– Она просчитала этот вариант. Применительно к экономической реформе вышло: поставить на каждом предприятии солдат, чтобы по окончании рабочего дня расстреливали тех, кто не справился с нормой. Ну и, конечно, ввести смертную казнь за все виды хозяйственных преступлений: срыв поставок, сроков исполнения, неразгрузку, сокрытие продуктов, нарушение технологии.

– Вот как? – Леон подумал, что Катя над ним издевается. – И дела пойдут?

– Еще как, – серьезно ответила Катя. – Это ложь, что ужесточение ничего не дает. Страх – отличный двигатель экономики и... вообще всего на свете. У нашей страны есть шанс совершить экономическое чудо, прорваться в двадцать первый век. Только надо спешить, пока Сатурн не в полной фазе, потом будет поздно.

– Но ведь это уже было, – возразил Леон.

– Ну и что? – пожала плечами Катя. – Астрология – наука повторений. Различия повторений – в степени последовательности. С последовательностью-то у нас как раз и плохо.

– Член президентского совета одобрил? – Леон подумал, что, если бы страной управляли не коммунисты (неважно, действующие или бывшие), а астрологи, было бы еще хуже. И еще одна мелькнула мыслишка: а может, коммунисты на самом деле никакие не коммунисты, а тайные астрологи, точнее, неоастрологи? Разве придет в голову нормальным людям – не коммунистам и не астрологам – осушать моря, поворачивать вспять реки?

– Не знаю, – ответила Катя, – он сказал: последнее слово за президентом.

– А если они не решатся подменить астральный свинец земным? – Леон так заинтересовался перспективами экономической реформы, что забыл, что надо целоваться.

– Тогда им вообще не следует браться за реформу, – безжалостно произнесла Катя. – Чем быстрее они уйдут от власти, тем им же будет лучше.

Леон не шел в своих мыслях дальше поцелуев. Не предполагал менять земной свинец на свинец астральный. Но вдруг понял, что поцелуи не предел. Конец одной перспективы означал начало следующей. «И так будет с ружьем, – зачем-то подумал Леон, – этот процесс бесконечен».

– Значит, я был прав, – пробормотал он.

– Прав? – широко распахнула глаза Катя. – В чем? «Что я могу предпринять на лестничной площадке, куда в любую секунду могут приехать на лифте?» – стиснул зубы Леон.

– Что бросил бутылку в этого гада!

– Ты же не виноват, – улыбнулась Катя, – что у тебя не было гранаты.

Леон увидел взлетающий в огне и дыму черный лимузин, себя, блистательно отстреливающегося от охранников, спланированно уходящего к набережной, где на спуске рокошет катер с верной Катей Хабло за штурвалом.

Лестница ожила, наполнилась звуками. Хлопала подъездная и щелкали замками квартирные двери, непрерывно сновал лифт, внутри трубы мусоропровода пролетал мусор.

Какая-то компания устроилась на лестнице несколькими этажами ниже. Доносились скрыто хихикающие, давящиеся голоса. Леон знал, какие темы обсуждаются такими голосами. Показались знакомыми и сами голоса.

Они устремились вниз по лестнице, миновали несколько пролетов, пока не увидели сквозь сетку лифтовой шахты двух девиц из восьмого «А», а вместе с ними парнишечку, кажется, из шестого.

Уши у парнишечки пылали.

Забыть этот ушной огонь было невозможно. Недавно парнишечка отважно затянулся «Беломором» в школьном туалете, и точно так же запылали у него уши, а из глаз хлынули слезы. Но он сдержался: не закашлял, не зарыдал.

Оказался волевым парнишечкой. Вот только волю воспитывал не так и не там. Хотя кто знает, как и где надо воспитывать волю?

Девицы, в обществе которых он в данный момент находился (воспитывал волю?), были из тех, что, загадочно улыбаясь, слоняются по улицам, не возражая, если в хвост пристраиваются ребята. Фамилия одной была Рутенберг, ее звали Рутой. Другой – Савенко, ее, естественно, Савой.

Леон еще не вник в суть разговора, а уже понял, что есть отчего пылать парнишкиным ушам, так щедро уснащали Рута и Сава свою речь матерщиной. Притом что тема как будто к этому не располагала. Они разгадывали кроссворд.

Но по-своему.

– Десять по вертикали. Металл. Периодический элемент системы Менделеева, – огласила Рута.

– Ну, Леха! – подбодрила Сава. Леха, однако, молчал.

– Херидий? – предположила Сава.

– «Е» – третья, – вздохнула Рута, – и букв больше.

– Охеридий?

– Еще буква.

– Захеридий!

– Двенадцать по горизонтали, – продолжала Рута. – Экскаватор с большим ковшом.

– Экскаватор с большим ковшом? И все? – удивилась Сава.

– Так написано.

– Леха, – вкрадчиво подступила Рута.

– Шестая – «е»!

– Работает ковшик, а? Или не вырос еще ковшишка? Ну, не лезь, Савка! Шестая «е»? Загребало.

– Шестая, а не пятая!

– Тогда... Загре...ебало. Загребало – экскаватор с большим ковшом. Годится!

Леха сосредоточенно курил.

– Скучный ты, Леха! – замахала руками Рута. – Все куришь, куришь, не хочешь с нами отгадывать.

– Из-за дыма уже кроссворда не видать, – зашелестела журналом Сава. – Пошли дальше. Четырнадцать по вертикали. Прибор, используемый в геодезии для определения плотности грунта. У... Леха, если не отгадаешь...

- Буквы? – как конь из хомута, высунул голову из дыма Леха.
- Длинненькое словечко. Третья «у», в конце «е».
- Опять «е»? Зае... ты меня, Савка, с этим «е»! Леха, хоть одно слово отгадай!
- Труппекатор! – вдруг громко объявил Леон. – Пиши: труппекатор!
- Какие люди!
- С чердачка?
- Откуда надо, – усмехнулся Леон.

Леха испуганно смотрел на Леона. Он был крепким парнем, этот Леха. Уши позеленели, а все курил.

- Как ты сказал: труппекатор? – склонилась над кроссвордом Сава. – Леонтьев, ты гений! Катю Хабло Сава и Рута не замечали, как будто не стояла рядом с Леоном Катя Хабло.

– Давай, что там еще? – Леон вспомнил, что уходить из подъезда следует по одному, как с конспиративной большевистской сходки. Подумал, что Катя, пожалуй, может идти.

– Шестнадцать по горизонтали. Праздник, народные гулянья, – обнародовала Сава. – Вторая «о», последняя «и». Восемь букв.

Некоторое время все удрученно молчали. Леха затушил о стену папиросу.

- Поебонки! – сказал Леон.

Впервые в жизни он видел в глазах девчонок такое восхищение. Безобразное несуществующее слово вошло в клеточки кроссворда, как патрон в наган. Сава поднялась со ступенек, молитвенно протянула к Леону руки поверх дымящейся Лехиной головы.

Нормально, решил Леон, посижу с девчонками.

- Нам пора! – прозвенел над ухом требовательный бритвенный голос Кати Хабло.

Я с ней целовался, равнодушно вспомнил Леон.

Они пошли вниз по лестнице.

Леон подумал, что останется в памяти Савы и Руты как парень, отменно разгадывающий кроссворды. Но неизбежно объявятся другие парни, еще более отчаянные разгадчики. Сава и Рута забудут его.

Перед тем как выйти из подъезда, они конспиративно изменили внешний вид. Катя спрятала в рюкзак свою запоминающуюся яркую куртку, стянула резинкой в хвост распущенные волосы. Леон спрятал в сумку свою незапоминающуюся (мог бы и не прятать) куртку, разломал голову, нацепил на нос темные очки, которые ему дала Катя. Никто не должен был узнать бутылочных террористов в примерной ученице и лохматом придурке в темных очках.

На улице было прохладно. Дело шло к вечеру. Применительно к данному полушарию планеты солнце садилось. Применительно к колодцу данного двора поднималось, текло вспять от земли по стенам и окнам, воспламеняя их.

Никто их не подстерегал. Видимо, бутылочный инцидент был исчерпан. Член президентского совета, должно быть, докладывал президенту основные тезисы свинцовой экономической реформы. А может (и скорее всего), уже сидел в зале для VIP в Шереметьеве, ожидая отлета в Лондон или Мадрид, прикидывая: как там будет с фунтами или песетами?

Домой, подумал Леон, быстрее домой, надо учить алгебру, завтра городская контрольная!

Вышли на проспект. Но и проспект был демократичен, мирен. На решетке канализационного люка лежало отколотое бутылочное горло.

- Заскочим ко мне? – предложила Катя. – Я покажу тебе гороскоп.

– На КПСС? – если что сейчас совершенно не интересовало Леона, так это гороскоп КПСС. Леон почувствовал, как натягиваются невидимые нити, влекущие его прочь от ружья. Это ничего не значит, подумал Леон, зато потом летишь, как камень из рогатки. – Кто у тебя дома?

- Никого, – ответила Катя.

– Мать в Амстердаме?

– Нет, – сказала Катя, – но она поздно вернется.

Они шагали по скверу, за которым было белое здание школы, а дальше – через дорогу – их дом. Солнце обливало последний этаж дома, как светящаяся баранья папаха. Выше были белые звезды. Песчаная дорожка, вьющаяся между газонами и клумбами, была странно холодна. Сердце Леона тяжело билось. Шампанское успело выветриться. Сатурн сменил шампанское в его сердце. Совесть Леона была чиста. Катя сама пригласила его. Он не напрашивался.

В подъезде, в ползущем вверх лифте – Катя жила на последнем этаже – Леон был сдержан. Лифт остановился.

Катя, оказывается, жила выше последнего этажа. Лестницу перегораживала раздвижная решетка, которую Катя отомкнула ключом и раздвинула, а как прошли, сдвинула и замкнула. На крохотной, с единственным окном площадке была единственная же дверь. Сегодня у меня день последних этажей, подумал Леон.

– Квартирка выгорожена из чердака, – объяснила Катя. – Ее как бы нет, она не значится в жилом фонде. Хотели выкупить, но заломили такую цену... Ты идешь?

– Иду, – Леон прислонился к стене, чуть не сбитый с ног катящейся из окна красной волной.

Окно было круглым, с земли представлялось никчемной пуговичкой под крышей, а тут вдруг обернулось слепящим раструбом, красным огненным сечением. Леон догадался, что утекающее в небо солнце легло животом на крышу.

Внизу из-под моста вытекала пылающая, как Лехины уши, Москва-река. Нестерпимо сверкали яблочно-луковичные купола реставрируемого монастыря. Как будто расплавленные золотые капли застывали в резных костяных перстнях. Высилось серое, напоминающее поставленный на попа акваланг, строение элеватора. Посреди пустого поля тянулся приземистый длинный жилой дом. То есть, конечно, что-то было вокруг дома, может, даже подобие улицы, но сверху казалось, что дом стоит посреди пустого поля. И все захлебывалось в красных волнах, как если бы невидимый великан-большевик тянул за собой небо-знамя.

Леону и раньше, когда чердак был чердаком, а не Катиной квартирой, приходилось смотреть из круглого иллюминатора-окна на странный длинный дом посреди поля. Тогда крышу дома, как петушиный гребень, украшал лозунг: «Коммунизм неизбежен!».

Леон, помнится, недоумевал: для кого лозунг, кто разглядит его на крыше дома посреди поля? Долгое созерцание лозунга пробуждало скверные чувства. Хотелось что-нибудь сломать, разрушить. Неизбежен? На вот, на! И Леон – и не он один! – ломали и рушили на чердаках и крышах, но главным образом, конечно, внизу.

Сейчас лозунга на крыше не было. Пуста, как побритая шишковатая голова, была крыша дома.

Не увидев знакомого лозунга, Леон вдруг понял, зачем одинокий длинный дом посреди поля, зачем на крыше лозунг, который никто, кроме птиц, не может видеть. Дом – чтобы поместить лозунг. Лозунг – чтобы разная ползающая по крышам и чердакам, летающая на воздушных шарах и самолетах экологической службы, смотрящая из дальних окон в бинокли, подзорные трубы и телескопы сволочь, дуреющая от воздуха, звезд и свободы, не забывала, что коммунизм неизбежен! И следовательно, не обольщалась.

Не увидев лозунга, задним числом осмыслив, зачем он был, Леон, вместо того чтобы обрадоваться, что его нет и никогда больше не будет, вдруг подумал, что коммунизм... неизбежен.

Ему сделалось смешно. До того смешно, что в красном колышущемся воздухе над крышей дома он отчетливо разглядел красные же прежние буквы: «Коммунизм неизбежен!»

Леон решил, что сошел с ума.

Хотя точно знал, что не сошел.

Впрочем, если коммунизм и впрямь неизбежен, это не имело значения.

Леон подумал, что формальный предлог для посещения Кати исчерпан. Ему уже известен гороскоп.

И Катя догадалась, хотя стояла в дверях и вряд ли могла видеть то, что видел Леон.

– Опять буквы? – спросила она.

– Весь лозунг. Как будто не снимали.

– Буквы иногда появляются на закате, – задумчиво произнесла Катя. – Но весь лозунг целиком я еще не видела. «Коммунизм неизбе». «Мунизм неизбеж». Один раз: «Ко неи». А иногда, – понизила голос, – почему-то по субботам на иностранных языках! То санскрит, то иероглифы, то какие-то неизвестные, похожие на письма майя. Я все срисовываю.

– И что из этого следует? – громко спросил Леон. Шептаться в дверях о неизбежности коммунизма показалось ему унижительным.

– Одно из двух, – ответила Катя. – Или он избежен, или неизбежен. Что еще?

Они вошли в квартиру – двухэтажное многоярусное помещение с винтовой лестницей, холлами, большими окнами, стеклянной, на манер шалаша, крышей над коридором. Сквозь незашторенные окна, прозрачный потолок квартира, как стакан вином, наполнялась красным коммунистическим светом.

Эту тему, похоже, было не закрыть, хотя впереди по коридору в открывшемся за раздвижной стеной белоснежном спальном пространстве обозначилась никелированная, как бы парящая в воздухе квадратная кровать.

Леон не понимал, почему вместо того, чтобы говорить о любви и думать о любви, он должен говорить о коммунизме, а думать о смерти. Но по мере медленного трудного приближения к кровати догадался. Потому что любовь несущественна и унижена в мире, где коммунизм и смерть – самое живое. А человек устроен таким образом, что говорить и думать об умозрительном (в данном случае о любви) может лишь после определенного насилия над собственным сознанием. В то время как слова и мысли о живом (в данном случае коммунизме и смерти) насилия над сознанием не требуют.

Легко и свободно, как Фома Аквинский бытие Божие, Леон подтвердил неизбежность коммунизма в мире ущербного существования полов.

Когда до кровати оставалось всего ничего, Катя вдруг остановилась:

– Я не собиралась так рано!

– Что? Рано? Чего рано? Не собиралась?

Вероятно, другой Фома, не Аквинский, а Фомин, и тот высказался бы в этой ситуации изыскнее, нежели Леон.

– Обнародовать гороскоп, выходить на астрологическую арену, – прошелестела Катя горячими сухими губами.

– Великие люди – ранние люди, – перевел дух Леон.

– А мне кажется, это никак не связано с величием, – сместилась в сторону, как перевела стрелку на железнодорожных путях, Катя.

Леон догадался, что это маневр, но поздно. Вместо кровати они оказались у окна. Оно тянулось вдоль стены, напоминающее грань аквариума окно. В нем было безумно много неба и ничтожно мало земли. Черный лимузин члена президентского совета показался бы отсюда крохотным начищенным башмачком. Леон вспомнил про дымные средневековые подвалы с летучими мышами, жабами, пауками, вонючим пламенем в печах. Что ж, подумал Леон, достаток возвышает и очищает астрологию и астрологов, как любую профессию, любых людей.

Из окна открывался впечатляющий вид. Леону оставалось надеяться, что Кате, которая смотрит из окна каждый день, он прискутит скорее, нежели ему, и тогда удастся перевести стрелку на прежний маршрут – к кровати.

Чем пристальнее всматривался Леон в закатное небо, тем явственнее стучался в его сознание какой-то образ. Он был почти уловим, этот образ. Вот он, казалось, здесь, но всякий раз ускользал за край сознания, как падающая звезда за край неба. Леон опять, как баран, смотрел в окно.

– Ага, – подтвердила Катя, как если бы Леон уже с ней поделился. – Ты прав, именно так.

– Так? – Леон уставился в окно, мучительно сознавая, что нельзя быть таким кретином, и становясь от этого еще большим кретином. – Это же солнце на... На...

– На носилках, – сказала Катя. – Ты хотел сказать: на носилках. Видишь, куда несут носилки?

Леон проследил, насколько можно было скосить глаза. Сомнений не было: неведомые санитары уносили бездыханное солнце на чудовищных дымных носилках прямо к лозунгу, которого не было, но который каждый вечер по субботам появлялся на разных языках, включая нерасшифрованные письма мая.

– А там? Под лозунгом? – спросил Леон, хотя мог бы не спрашивать.

– Солнце несут в смерть, – ответила Катя. – Солнце – это Россия. Россию под лозунг в смерть. Неужели не ясно?

– Но ведь она жива? – не очень уверенно возразил Леон.

– Жива? – переспросила Катя. – Ты посмотри в окно!

Действительно, только очень большой оптимист мог посчитать живой бездыханную красную гору на дымных носилках. Вероятно, там продолжалась какая-то жизнь, но остаточная. И у покойника растут ногти и щетина, щелкает дроздом селезенка.

– Каждый вечер закат, – пробормотал Леон, – а утром рассвет.

– И лозунг? – спросила Катя. – Неужели тебе не жалко?

– Чего?

– Потому и несут, – сказала Катя, – что русским плевать.

Леон как бы увидел себя и Катю со стороны, подумал, что, не будучи сумасшедшими, они ведут сумасшедший разговор.

Его следовало закончить, приступить к другому, более конкретному, чем предполагаемые похороны неведомой России.

Какой России?

Ту, какую Леон знал с детства, ему было не жалко. Не жалко было ему и новую, в одночасье возникшую из ничего, обретшую газетно-радио-телевизионный голос. Это была суетливая, вороватая, с бегаящими глазками, хлопчущая то об армянах, то о литовцах, но помалкивающая о русских, славящая брокеров и дилеров, загадочных отечественных миллионеров, которые не могли внятно объяснить, чем занимаются, как зарабатывают миллионы, Россия, напоминающая наглуую, каркающую по любому поводу, хлопающую крыльями помоечную ворону. Леон не знал, откуда она взялась, почему присвоила себе имя Россия. Вероятно, Катя Хабло имела в виду третью Россию. Но третью Леон не знал, а потому не мог ее жалеть или не жалеть. Третья Россия, подобно граду Китежу, некогда ушла в глубокие воды и пока не спешила подниматься. Должно быть, были люди-медиумы, ощущающие сквозь толщу воды связь с ней. Леон себя таковым не считал. Его удел был неприкаянно маяться между двумя чужими – коммунистической и брокерской – Россиями.

– Ну хорошо, – устало согласился Леон. – Что из всего этого следует?

– Война гороскопов, – сказала Катя. – У нас с мамой получились разные гороскопы. А это, – кивнула в окно, – подтверждение, что оба правильные.

– Отчего же война? – спокойно, так как только сохраняя спокойствие можно было продолжать сумасшедший разговор, спросил Леон. – Если оба правильные?

– Оттого и война, что оба правильные, – объяснила Катя. – Когда сходятся два правильных гороскопа на один предмет, им перестает хватать этого предмета. Он может принадлежать лишь одному правильному гороскопу.

Леон незаметно теснил Катю от окна к кровати. Но делал это скорее по инерции. Он родился в год змеи, читал переводы восточных календарей – сомнительные, скверно напечатанные книжонки. Знал, что беда змеи – в постоянных колебаниях энергии. Сейчас он чувствовал, как холодеет кровь, стынет кожа, обесцвечиваются краски, уходит интерес к происходящему. С этим, впрочем, он бы примирился. Не впервой. Гораздо хуже было, что Леон совершенно не ощущал в себе силы, потребной для того, чтобы что-нибудь предпринять в кровати. В книжонках, правда, утверждалось, что и в периоды исхода энергии змея может собраться, сосредоточиться, блистательно довести до конца начатое дело.

Леона, однако, ожидало два дела: гороскопы и Катя. Исход энергии не противоречил дальнему (а впрочем, не столь уже и дальнему) ружейному стратегическому плану, но весьма противоречил плану ближнему, постельному, тактическому. Программа-максимум и программа-минимум не стыковались.

– А что там, в ваших гороскопах? – Леон решил выполнить обе программы. Уподобиться РСДРП или змее, кусающей собственный хвост, чтобы положить предел исходу энергии.

– Мама составила классический гороскоп, – сообщила Катя. – Собственно, я не понимаю: почему они боятся его обнародовать?

А если, подумал Леон, подхватить ее на руки и эдаким кавалером?.. А про гороскопы потом...

– Мама определила, что космические составные элементы коммунизма с древнейших времен присутствуют над территорией России. К семнадцатому году они сложились в решающую комбинацию. Пик коммунизма как идеи пришелся на тридцать пятый год. Самое сильное энергетическое поле у него было в сорок девятом. Начни Сталин в тот год мировую войну, он бы победил. Но прозевал. А потом пошло на растяг. К двухтысячному году космическая коммунистическая комбинация окончательно распадется и соберется вновь только в две тысячи четыреста шестом, но уже над территорией Антарктиды.

– Может, у пингвинов получится! – предположил Леон.

– Они записали в студии мамино выступление. Несколько раз звонили, что пустят по телевидению, но не пустили. На прошлой неделе сказали, что гороскоп на экспертизе в Институте Маркса – Энгельса – Ленина.

– Где-где? Зачем?

– А там сейчас крупнейший в мире астрологический центр. Миллионный бюджет, компьютеры, библиотека, специалисты из Тибета, африканские колдуны, шаманы, даже этот, голый из Индонезии, который сто лет на дереве сидел.

Леон молчал. Институт Маркса – Энгельса – Ленина был от него так же далек, как преисподняя. И одновременно близок. В том смысле, что Леон не удивился, что он превратился в капище оккультистов и чернокнижников. Преисподняя всегда ближе к человеку, чем ему кажется. А если по-простому: в нем самом.

Леон объявил войну собственному змеиную гороскопу. Так зверски сосредоточился на процессе концентрации энергии, что глаза налились свинцом (Сатурном), кровь застучала в висках красными (коммунистическими) молоточками, ему стало жарко, как в бане (на партсобрании, где разбирают его персональное дело). Вот только там, где всего нужнее (для осуществления программы-минимум), желательного притока энергии не ощущалось. Наверное, еще не сложилась решающая комбинация, успокаивал себя Леон.

– Но я-то знаю, почему они испугались, – задумчиво произнесла Катя.

Леону не оставалось ничего, кроме как полюбопытствовать: почему?

– Гороскопы составляют с помощью компьютеров, – объяснила Катя. – У каждого астролога, конечно, свой метод, но принципы программирования общие. Солидные организации принимают гороскопы на специальных типовых бланках. Компьютер облегчает труд астролога, но и ставит на поток, лишает полета, озарения. Мама у меня человек добросовестный. В бланке есть графа: привходящие элементы. Ей определили: международное рабочее движение, иностранные компартии и прочую муть. Только она начала программировать, объявили, что создавалась какая-то РКП, вроде бы то же самое, что КПСС, но не совсем. Мама возьми да включи РКП в привходящие. А вместе с ней попало слово «Россия» партия-то российская. Компьютер и выдал: к двухтысячному году перестанут существовать не только коммунизм, КПСС, РКП, но и Россия вместе с русскими.

– Перестанут существовать? Всех убьют? – не понял Леон.

– Не знаю, – ответила Катя, – перестанут, и все тут.

– То есть не будет коммунизма, но и России не будет? – уточнил Леон.

– Именно так, – подтвердила Катя. – Не будет коммунизма и не будет России.

– Какой России? – Леон подумал, что двух – коммунистической и брокерской – ему не жалко, а третьей он не знает.

– Никакой, – сказала Катя. – В том-то и дело, что не будет никакой.

– Значит, Россия и коммунизм одно и то же?

– Трудно сказать, – вздохнула Катя, – но перестанут существовать они одновременно.

– Ты хочешь сказать, что русские люди, как один, умрут в борьбе за это, за коммунизм?

Как в песне?

– По маминому гороскопу.

Какую же Россию спасти? – подумал Леон. Коммунистическую, чтобы вновь укрепилась? Или брокерскую, чтобы побыстрее сломала хребет коммунистической? Или тащить со дна китежную? Только где она, китежная?

– А по твоему гороскопу? – Леон сам не заметил, как преобразился. Его переполняла энергия. Кровь вскипала покалывающими пузырьками. Новая кожа зудела под старой. Леону казалось: еще чуть-чуть, и он вспыхнет, как лампочка.

– По моему гороскопу коммунизм вечен, – спокойно сообщила Катя.

– Вечен? Вот как? И после двухтысячного года? – Леон испугался едва ли не сильнее, чем когда узнал, что коммунизм и русские исчезнут к двухтысячному году.

– Тебе ничем не угодишь. И то плохо, и это. Да, вечен. И следовательно, неизбежен. Не зря же неопалимый лозунг на крыше!

– Вечен и, следовательно, неизбежен, – зачем-то повторил Леон.

Недавно он осилил роман под названием «1984». Там тоже герои повторяли друг за другом. Но если там за повторением скрывалось многое, за Леоновым повторением не скрывалось решительно ничего. Леон подумал, что достойнейший английский писатель переусложнил природу человека. Страх через несколько поколений вырождается в равнодушие к собственной судьбе. Леон не мог полюбить ни коммунизм, ни Большого брата, ни Россию брокерскую, потому что ему было плевать. Благородный англичанин не допускал, что так может быть, ибо тайно верил в человека. А между тем Леон достиг точки падения, с которой начинался новый отсчет. Интересно было бы прочитать роман «2000», подумал Леон.

– Мама составляла официальный гороскоп, поэтому была вынуждена возиться со всеми этими химерами, словесными обозначениями неизвестно чего: КПСС, РКП, международное рабочее движение. А я решила определить истинный привходящий элемент коммунизма. И я его определила. Это смерть.

– Долго думала? – усмехнулся Леон.

– Не смейся, – сказала Катя. – Никто никогда не составлял гороскопа на смерть.

– Разве можно составить гороскоп на смерть?

– Трудно, – согласилась Катя. – Невозможно установить точное время и место рождения смерти. Но поскольку смерть – вечно длящееся настоящее, допустимо взять любую точку во времени и пространстве. Не ошибешься. У меня получилось на территории древней Ассирии. Я посмотрела исторические карты. Там был храм смерти.

– Нормально, – одобрил Леон, – не подкопаешься.

– Я начала рассчитывать, – пропустила мимо ушей глупую реплику Катя, – и в процессе расчета привходящий элемент – смерть – и коммунизм поменялись местами. Я сделала астрологическое открытие, сопоставимое с открытиями Пифагора в геометрии. Если проще: не коммунизм – смерть, как мы думаем, а смерть – коммунизм. Стало быть, коммунизм вечен и неизбежен. Мы все – итоговые коммунисты.

Леон припомнил выделенное напечатанное заклинание из прежней (устаревшей?) программы КПСС: «Партия торжественно провозглашает – нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Выходит, подумал Леон, не больно-то партия и ошиблась. Наоборот, поскромничала. Каждое поколение советских и несоветских людей рано или поздно будет жить при коммунизме. Но тогда при чем тут партия?

Посмотрел в окно.

Солнце (Россия?) недвижно покоилось на дымных носилках, крепко спеленутое холодными синими простынями.

– Я тут не вижу открытия, – пожал плечами Леон, – по-моему, ты всего лишь пытаешься дать очередное определение смерти.

– Слушай дальше, – с любопытством посмотрела на него Катя. – Жизнь, пока не настала смерть, – все-таки жизнь. А смерть, пока длится жизнь, – еще не смерть. Есть грань, когда жизнь уже не жизнь, а смерть еще не смерть. В медицине это называется кома. Чувствуешь, как похоже: кома и коммунизм?

– И комиссионный магазин, – зачем-то добавил Леон.

– Жизнь и смерть – два мира, существующие каждый по своим законам, – поморщилась Катя. – Кома – граница между ними, нейтральная зона, если угодно, четвертая грань треугольника.

– Далась тебе эта кома, – усмехнулся Леон.

– Два мира существуют в состоянии относительного равновесия, пока ни один из них не пытается подчинить другой. Живые, как того хотел философ Федоров, не рвутся воскресить мертвых. Мертвые не стремятся во что бы то ни стало умертвить живых. Так вот, – тихо произнесла Катя, – коммунизм – это попытка мертвых подчинить живых, распространить кому на живую жизнь. Марш мертвецов.

– Но ведь жизнь, наверное, тоже вечна и неизбежна? – возразил Леон.

– Увы, – вздохнула Катя, – по моему гороскопу, конечно и избежна. Сквозь прорехи в озоновом слое из мертвого мира в живой хлещет коммунизм.

– Но почему его так много в мертвом мире? – поинтересовался Леон.

– Люди раньше верили, да и до сих пор верят, особенно перед смертью, в загробную жизнь, – сказала Катя. – В земной же ведут себя скверно. Я думаю, коммунизм – это загробная жизнь. Вернее, какой она стала, как Бог отступился от людей.

– А он давно отступился? – почему-то шепотом спросил Леон.

– А как изгнал из рая Адама и Еву. Бог был в отчаянье, вот рай и превратился в коммунизм.

– А ад?

– Про ад ничего не могу сказать, думаю, его нет.

«Ну, если Бог в отчаянье, если рай превратился в коммунизм, а ада нет...» – Леона перестало пугать предстоящее. Он легко поднял Катю на руки, поднес к кровати. В конце концов,

какого хрена? Россия унесена на носилках. Коммунизм вечен и неизбежен. Бог в отчаянье. Ада нет.

– Я действительно не собиралась так рано! – Катя обхватила его за шею.

Они лежали на невероятно пружинистой квадратной кровати. Леон пошлейшим образом шептал Кате, что раньше лучше, чем позже, а с ним лучше, чем с другим, потому то он... Леон имел в виду, что он до сего дня ни-ни, следовательно, у него не может быть СПИДа. Но тут до него дошло: а с чего это он взял, что и Катя ни-ни? Смолк посреди шепота. Получилось гнусно. Что он, собственно, имеет в виду? Что у него богатейший опыт? Что он лихой парень с большим ковшом из кроссворда?

Некоторое время Катя раздумчиво молчала. Леон почувствовал себя на невидимых весах.

– Сегодня четверг, – сказала Катя. – Сегодня в принципе подходящий день.

Их уста слились, пальцы переплелись, взгляды скрестились. На круглой стеклянной столешнице лежал единственный предмет – ножницы.

– У меня было предчувствие с утра, – сказала Катя, – положила на всякий случай.

Леон протянул руку, взял ножницы, зачем-то туго щелкнул ими в смеркающемся воздухе.

– У меня тоже в сумке. Принести?

– Мои острее, – усмехнулась Катя. – Ты уж поверь. Значит, под «рано» она имела в виду время суток, подумал Леон, всего лишь время суток, и ничего более.

– Зачем? Какой в этом смысл? – Леон решил, что если резать, так по шву, чтобы потом можно было сшить.

– Оставлю на память лоскутки, – прошептала Катя.

Леон легко разрезал на Кате платье по шву от подшитого подола до белого кружевного воротничка.

Он хотел сказать ей, что скоро будет все знать про коммунизм, но уже сейчас знает, что там по шву ничего не сшивают, но это было не совсем то, что говорят в подобных ситуациях девушкам. Поэтому Леон просто сказал Кате, что любит ее и будет любить всегда. «У меня просто не будет времени полюбить кого-нибудь еще», – подумал Леон.

Леон спускался с чердачного Катиного этажа вниз по бесконечной лестнице, радуясь абсолютной ясности своего сознания, внезапно обострившемуся обонянию. Он, как в бинокль, видел каждую щербинку на плитках, прочитывал мельчайшие (большой частью невероятно глупые) надписи на стенах, вдыхал многослойные лестничные запахи, знал, за какой дверью жарят баранину с картошкой, за какой варят капусту, за какой не сильно свежую рыбу. Мелькнула пробензиненная дверь некоего кустаря-технаря. Самогонно-бражная алкоголическая дверишка.

Леон подумал, что жизнь весьма многообразна, но вряд ли эту мысль можно было считать откровением.

Леон пересек холодный вечерний двор: беседки, машины, цветущие яблони.

Переступил порог родного дома.

В доме были гости.

Из кухни донесся громкий уверенный голос: «Я не хочу сказать, что прежняя идеология была во всех отношениях совершенна, скорее всего, нет, но она была хороша уже тем, что была! Народ, общество ни на день, ни на час нельзя оставлять без идеологии. Не суть важно какой. Подобная детерминированность, возможно, вносит раздражение в умы отдельных образованцев, обществу же в целом она гарантирует спокойствие и стабильность. На Западе это прекрасно понимают. Люди не должны задаваться мировоззренческими, социально-политическими вопросами. Люди должны жить и работать! У нас сейчас люди не живут и не работают.

В результате мы имеем хаос во всем, и чем дальше, тем сильнее потребуется шок, чтобы привести в норму».

Леон подумал, что это радио, но нет, говорил пожилой, плотный, с седым клоком на лбу, с рюмкой в одной руке и с пустой вилкой в другой.

Леон молча прошел в свою комнату.

– Ты дома? Ужинать будешь? – спросила мать. Она хмельными глазами врозь смотрела на Леона, но мысли и чувства ее были там, на кухне.

– Попозже, – Леон притворил дверь в свою комнату, закрыл на задвижку.

Сочления пахнувшие ружейным маслом ствол и ложе, вставляя в светящиеся отверстия патроны из пачки с токующим пионером-тетеревом, Леон все надеялся услышать из кухни человеческие слова. Ведь это будут последние слова, которые он здесь услышит. Следующие услышит (если услышит) уже при коммунизме. Но слова произносились неинтересные, скверные.

«О чем они?» – Леон разулся, примерился большим пальцем ноги к куркам.

Держать равновесие было трудно. Он стал похож на цаплю, высматривающую в болоте лягушку.

Леон решил уйти в паузу.

Но вместо паузы отчетливо, как будто не было закрытой на задвижку двери, прозвучало:

– Что бы ни городили эти ублюдки, будущее за социализмом. Русский народ никогда не примет другого строя! За русский народ, за социализм!

Леон дождался звона рюмок, уткнул двухдырное дуло себе в висок, наступил большим пальцем ноги на курок.

Часть вторая

У дяди в зайцах

Машина была не то чтобы безнадежно неисправна, но и, конечно же, не до такой степени исправна, чтобы пускаться на ней в дальний путь.

Каждый раз после поездки, поставив машину на стоянку, а с недавних пор в кирпичный гараж-коробок на пустыре, придя домой, отец подробно, с каким-то даже сладострастием перечислял неисправности.

Казалось бы, дело за малым: взять да наведаться в автосервис. Однако отвращение к автосервису пересиливало у отца страх ездить на неисправной машине. «Автосервис без блат, – сказал как-то отец, – еще хуже, чем социализм без привилегий». – «А ну как встанешь, скажем, в туннеле под площадью Маяковского?» – спросил Леон. «Будут орать, – вздохнул отец, – будут оскорблять, но, по крайней мере, за дело. Когда у нас оскорбляют за дело, значит, уважают, считают за человека. Это звучит как музыка».

Таким образом, отец позорно капитулировал перед автосервисом, малодушно бежал от здравого смысла. То был путь миллионов. Суть происходящих в стране событий, казалось, заключалась в определении рубежа, до которого эти самые миллионы готовы позорно капитулировать, малодушно бежать. Пока что рубеж был (если вообще был) за горизонтом.

В середине мая, доставив Леона из больницы домой, отец заявил, что машине конец: засорился карбюратор, сгнил бензонасос, выходит из строя электронный блок зажигания, которого днем с огнем.

Несколько дней отец не ездил, пытался дозвониться в автосервис, естественно, безуспешно. Бывалые люди советовали отправиться туда к пяти утра, но предупреждали, что можно неделями ездить к пяти утра и все равно не попасть.

Тут как раз приспела повестка из районного ГАИ. Оказывается, машина два года не была на техосмотре. ГАИ грозило штрафом. Пройти техосмотр в ГАИ было невозможно, потому что невозможно было попасть в автосервис и исправить машину. «Невозможно» представлялось единым и неделимым, как Россия в безумных мечтах белогвардейцев.

Отец впал в безысходную ярость, сравнимую со знаменитым гневом Ахиллеса, Пелеева сына. Вновь начал ездить на неисправной машине, одной лишь силой гнева преодолевая неисправности.

Так, впрочем, ездил едва ли не каждый второй советский автовладелец.

«Где два года, там и три. Бог троицу любит, – определился отец насчет ГАИ. – Прижмут, скажу, работал в Антарктиде, только вернулся, что они меня, посадят? Может, уже и не будет скоро никакого ГАИ».

Схожим явилось и решение, точнее, нерешение относительно автосервиса. Пока машина ездит, пусть себе ездит, что с того, что часто глохнет, у других еще чаще глохнет, и ничего, ездят люди, да и реже стала глохнуть, сама, видать, исправляется.

Иррациональная вера в самоустранение неисправностей, чудотворную природу мотора оставалась уделом едва ли не каждого второго советского автовладельца.

А между тем время дальней поездки настало скоро, а именно первого июня, когда Леон, благополучно закончив восьмой класс, перешел, освободившись по состоянию здоровья от экзаменов, в девятый.

Надо было куда-то ехать из бесхлебной, жаркой и вонючей Москвы.

Собственная – на шести сотках в Тульской области – дача строилась десятый год. Пока что «строительство» выразилось в том, что посреди их овражистого участка вырыли за триста пятьдесят (это еще когда!) глубокий котлован под фундамент, который немедленно до краев наполнился водой.

Весной вода заливала весь участок вместе с оврагом, и смотреть, как идет «строительство», приходилось с сухого пригорка издали. Летом вода в котловане изумрудно цвела, в ней угадывалась простейшая жизнь. Осенью по поверхности плавали флотилии красных и желтых листьев, подмерзшие берега хранили слепки птичьих лап и звериных копыт. Зимой все шесть соток представляли из себя плохо залитый шишковатый неосвещенный (если только луной) каток. «Может, что-то изменилось в дачной политике? – спросила однажды мать. – И мы уже не садоводы, а рыбоводы? Вдруг нам надо разводить карпов, а мы не знаем?» На других участках дела обстояли примерно так же. Только светился трехэтажный с башнями дворец председателя садоводческого товарищества, которое так и называлось – «Товарищ».

Было время, снимали халупу в местечке с социалистическим названием «Семьдесят второй километр».

Но в этом году съемные переговоры закончились неудачей. Отец как чувствовал – не хотел звонить таксисту, владельцу этой самой халупы. Позвонил только после того, как мать заявила, что, если он и сегодня не позвонит, она пойдет и отдастся таксисту прямо в машине. Леона как раз выписали из больницы. Он никуда не выходил, сидел дома с головой, обмотанной бинтами, как янычар в чалме, с ноющим, залепленным мазью, заклеенным специальной светонепроницаемой наплежкой глазом. Потому и слышал разговор. Таксист (как выяснилось, уже и не таксист, а помощник крупье в казино «Нимфа») запросил сумму в... конвертируемой валюте. «Увы, Коленька, – даже обрадовался, что переговоры оказались короткими, отец, – мы люди неконвертируемые. Что? Да, Карл Маркс написал “Капитал”, но это не про то, как сделать капитал, а как сделать, чтобы никто никакого капитала не сделал. В особенности помощник крупье из казино. Да, Коленька, живу по Марксу. Нет, боюсь, поздновато мне разносить напитки играющим, хотя, конечно, все в жизни может случиться. От суммы, тюрьмы, подноса с напитками не зарекаюсь».

Раньше каждое лето Леон с матерью или отцом, а то и все вместе по месяцу жила в домах отдыха Академии наук. Отец покупал путевки через свой институт. Он и в этом году подал заявление. Но отказали. «Они перестали считать научный коммунизм наукой, – с грустью констатировал отец. – Отныне придется заниматься научным коммунизмом без летнего отдыха». – «Неужели никак нельзя с отдыхом? – вздохнула мать. – Еще в прошлом году можно было». – «Все течет, все меняется, – процитировал отец, надо думать, знавшего толк в отдыхе Гераклита, – в прошлом да, в этом нет. Куда, кстати, мы в прошлом году ездили? Неужели в Литву?» – «Там были сложности с компотом, – напомнила мать. – Всем, даже неграм, консервированный, русским – из сухофруктов. И с лампочками напряженка. Ты еще в сортире вывинтил, чтобы мы могли перед сном почитать». – «Мелочной народец, – согласился отец, – но в этом году Литва нам не светит». – «А Подмоскovie?» – «Глухо. Я узнавал. Даже этого старого пня, нашего завкафедрой отфутболили». – «Но ведь надо же его куда-то везти? – с жалостью и ужасом посмотрела на Леона мать. Она была уверена, раз у него забинтована голова, он ничего не слышит. Только страшно смотрит одним глазом. – Не держать же его все лето с простреленной башкой в городе?»

Тогда-то и вспомнили про новоявленного фермера-арендатора дядю Петю из деревни Зайцы Куньинского района Псковской области.

Отыскали письмо.

Отец внимательно изучил тетрадный, исписанный аккуратным – буква к букве – почерком листок.

Леон ожидал, что он выскажется по сути письма, отец же пустился в сомнительные графологические изыскания.

По его мнению, у дяди Пети был «неразработанный» почерк. Так пишут люди из народа, для большинства из которых время писания навсегда заканчивается со школой. Вот они до старости и пишут как школьники.

Если же человек из народа вдруг увлечется кляузами, доносами, перепиской с официальными инстанциями, апелляциями, поисками правды (по отцу все это находилось в одном ряду), почерк его разрушается, теряет чистые первозданные линии, приобретает размашистую шизоидную мерзость.

– Что удивительно, – продолжил отец, – человек при этом не становится ни лучше, ни грамотнее. А почерк портится.

Леон и мать переглянулись.

– Пете теперь придется много писать, – заключил отец. – Гораздо больше, чем раньше.

Некоторое время Леон и мать молчали. Мысль отца была слишком затейлива, чтобы вот так сразу ее постигнуть.

– Когда неприспособленному, с девственным, замороженным алкоголем разумом человеку приходится много писать, излагать на бумаге заявления и просьбы, – снисходительно разъяснил отец, – он может сойти с ума! Ты там присматривай за дядькой! – весело подмигнул Леону.

Леон подумал, что немного сумасшествия в жизни – это вполне допустимо. Как барбарис в плове, долька лимона к осетрине, вишня в стакане с коктейлем. Но когда отец в результате сумасшедшего рассуждения приходит к мысли, что его брат может сойти с ума из-за того, что ему придется много писать (?), призывает сына, чудом избегнувшего психбольницы (мерзавцы, не хотели верить, что он случайно прострелил себе голову!), присматривать за этим самым, могущим сойти с ума из-за писания дядей, – это уже Зазеркалье, поход грибов, как если бы грибы двинулись с ножами и корзинками на людей, суд деревьев над дровосеком, трибунал рыб над утонувшим по пьянке рыбаком. Всякое здоровое слово тут начинает восприниматься как спасительная, отбивающая дух сумасшествия специя.

– Он просит пятьсот рублей, – бросила в дымящееся сумасшествием блюдо эту специю мать, – скажешь, что не в долг, что не надо возвращать, пусть Ленка поживет у него летом.

– А ты уже послала? – мгновенно стряхнул дурь отец. Как только о деньгах, усмехнулся про себя Леон, сразу сумасшествию конец, недавний безумец вмиг становится не только нормальным, но еще и скупым. Что в общем-то странно, так как нет на свете ничего более сумасшедшего, нежели пустые, с каждым днем обесценивающиеся советские деньги.

– Нет, – ответила мать. – Сами отвезете.

– Отвезем? На чем? – взъерился отец.

– На машине, на чем же еще? – спокойно ответила мать. – Не думаю, что туда можно долететь на самолете.

– Ты соображаешь, что говоришь? На какой машине? – чуть не задохнулся отец. – Машина сломана!

– Починишь! – отрезала мать.

Леон подумал: она перебарщивает со специями. Отец, пошатываясь, выбежал из комнаты.

Леон пожалел отца. Слишком много неразрешимых вопросов, свистя, летели в него, безоружного, как вражеские дротики. Отцу следовало быть каким-то сверхъестественным деловым рыцарем, чтобы с честью их отразить. Он таковым не являлся. Единственно, что мог: дать в долг (или без отдачи) брату пятьсот рублей, но это было не бог весть что в талонно-купонной разоренной стране. Леон подумал, что, вероятнее всего, проведет лето в Москве.

Собственно, это не очень его огорчило. Из жизни Леона ушло то, что сообщает физическому существованию видимость смысла, а именно переживания. Ему было все равно, где проводить время: в Москве, у дяди Пети в Зайцах, где-нибудь еще.

Леон ходил через день в поликлинику на перевязки. Медсестра разматывала чалму, пинцетом отдирала присохшие тампоны, накладывала новые, закручивала вокруг головы свежую чалму.

Мать с утра уносила читать лекции. Ей удалось прицепиться к издыхающему, как она выразилась, обществу «Знание».

Отцу, похоже, спешить больше было некуда. За завтраком он просматривал (если их к этому времени приносили, что случалось все реже, как если бы вся печать в стране сделалась исключительно вечерней) газеты. Затем энергично потирал руки, как алкаш перед выпивкой, подсаживался к телефону. «Так-так, – начинал разговаривать сам с собой на разные голоса, как в радиопостановке. – На московских станциях технического обслуживания автомобилей начался рабочий день. Механики, электрики, жестянщики и прочие специалисты готовы обслужить клиентов. Они ожидают заказов. Звоним на Десятую линию Красной сосны, пять. Что там? Ту... Ту... Сосна-Сосна, я – Береза, прием! Не отвечают. Беспokoим Пролетарский пр., двадцать четыре, корп. три. Занято. Что у нас на Сталеваров, семь дробь один? Ура! Девушка, могу я... Бросила трубку. Связь нарушена. Выхожу вторично. Сталеваров, семь дробь один, как слышите, как слышите?»

В конце концов отец отправлялся в гараж в наивной надежде самолично исправить машину.

На следующее утро снова подсаживался к телефону.

«Так-так, – услышал однажды Леон, – нас записали на декабрь следующего года. Каких-нибудь полтора годика, и подойдет наша очередь».

И все это тянулось, пока не закончилось.

А закончилось с получением второго письма от дяди Пети, написанного уже гораздо более «разработанным» почерком. В письме дядя Петя изъявлял готовность принять «племяша» с условием, чтобы Леон «помогал с птицей и кролями» плюс к этому привел обширнейший перечень, чего привезти из столицы, просил в долг уже не пятьсот, как раньше, а тысячу рублей.

– Манка, гречка, мука, сахар, соль, курево, дрожжи... – с недоумением перечислил отец. – Он что, думает, у нас тут Рим? Третий Рим? Водка! Для расчета с ханыгами. Сам ханыга! Вот ему водка! – сделал неприличный жест рукой. – Насчет тысячи даже не знаю. Обнаглел.

– Семьсот, – сказала мать, – я вчера получила гонорар в «Знании», дашь ему семьсот.

– Тронемся послезавтра в понедельник, – вздохнув, посмотрел на Леона отец. – Книг побольше возьми. Дяди Петина библиотека оставляет желать лучшего.

– На неисправной машине? – удивился Леон.

– Думаешь, полный кретин у тебя батька? – подмигнул отец. – Есть такое волшебное слово: транзит! Надо всего-то допилить своим ходом до первой станции на трассе. Транзитников они обязаны обслуживать вне очереди, потому что транзитникам ехать дальше. На похороны. Мало ли куда? Вам что, не нравится мой план? – недовольно воскликнул, заметив, что мать и Леон кисло помалкивают.

– Он бы сгодился в любой стране, – сказала мать, – за исключением нашей. Никто не станет с тобой разговаривать на станции. С таким же успехом можешь надеяться, что встретишь на шоссе космических пришельцев и они починят машину.

– Нет выхода? Никаких надежд? – уныло спросил отец.

– Денег побольше захвати, – посоветовала мать, – может, за пределами Москвы еще интересуются деньгами. И водяру. За водяру на руках донесут.

– Да где взять? – спросил отец. – Ковер, что ли, продать?

– Спятил? – испугалась мать. – Единственная ценная вещь в доме. Только за доллары. И не сейчас. Такие ковры скоро станут на вес золота.

Они говорили о гигантском, вишневого цвета ковре, подаренном отцу Ашхабадским музеем истории КПСС. На ковре в обрамлении традиционного восточного орнамента были вытканы белые профили Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Ковер отцу подарили в середине семидесятых годов после республиканской партийной конференции, где он выступал с докладом. Тогда на Востоке хорошо дарили. Сейчас бы, конечно, ашхабадские коммунисты никому не подарили ручной работы ковер с четырехговым призраком коммунизма. Сами бы продали через аукцион «Сотби».

Недавно родители, опасаясь, что сложенный на антресолях ковер сожрет моль, повесили его у себя в спальне. Тем самым объявив себя перед всеми входящими в квартиру врагами демократии и прогресса, воинствующими ортодоксами.

– Спрошу у Гришки, – решил отец, – вдруг у них еще дают в буфете? Нет, попробую с переплатой у грузчиков в гастрономе. Значит, в понедельник! – хлопнул Леона по плечу.

Без чалмы, без ввевшихся в кожу тампонов, без нашлапки на правом глазу Леон вроде бы снова стал нормальным человеком.

Вот только внешне немного другим.

Леон остановился в прихожей перед зеркалом.

Он и раньше не отличался полнотой, нынче же сделался концлагерно худ. Черты лица заострились. Кожа на нетронутой левой стороне лица казалась матовой, как бы подсиненной изнутри. В больнице Леону побрили голову, и сейчас у него подростковый уголовный пепельный ежик. Он был похож на падшего ангела или на вставшего на путь исправления демона. Но это если смотреть слева. С правой же стороны лица, откуда выковыривали дробь, где был ожог, где накладывали якобы незаметные косметические швы и специальные (как из наждака) стягивающие пластыри, кожа была серо-розовая, негладкая, как бы исклеванная острыми птичьими клювами и исхоженная когтистыми птичьими лапками-крестиками. Эдакий мусульманский орнамент носил Леон на правой стороне лица, как на знамени Аллаха или по краям вишневого ковра с четырехговым призраком коммунизма, бродящим в пустынях Туркмении. Иногда он был почти неразличим, иногда (когда неудачно падал свет) казался отвратительнее, чем был на самом деле. «Ничего, парень, – сказал Леону хирург, закончив ремонт лица, – отрастишь бороду, никто ничего не заметит». – «Как у Маркса?» – нашлись силы пошутить у Леона. «Да хватит как у Ильича», – ответил хирург. Леон представил себя с бородой как у Ильича, но в глазах поплыло, и он заснул.

Оставалось утешаться, что могло быть хуже, что он мог превратиться в истинного Квазимодо.

И никак было не привыкнуть к правому глазу. Мало того что в нем поселился ветер, он вдруг начинал видеть не так, как левый, как положено человеческому глазу. Давал смещенное, то мозаично-пятнистое, то строго черно-белое, как на контрастной фотографии, то в невообразимом смещении ярчайших цветов конусовидное изображение действительности. Левым глазом Леон смотрел как человек. Правым как насекомое: стрекоза, пчела, бабочка или муха. А иногда как птица, потому что окружающий мир неожиданно уходил вниз, рассыпался крупной под ногами.

Но это случалось не так уж часто.

В остальное время Леон видел совершенно нормально, если не считать ветра в правом глазу.

Дело в том, что в правом глазу Леона, точнее, не в самом глазу, а в мягких тканях за глазом, так сказать в заглазье, пробив тонкую височную кость, засела дробина. Извлечь ее без сложнейшей нейрохирургической операции (в Союзе таких, естественно, не делали) не было никакой возможности.

В больнице изготовили рентгеновский снимок. Леон видел светящуюся точку посреди смутных теней, неясных очертаний, как комету, летящую внутри его черепа.

Врачи объявили, что подобная «в капсуле» дробина в принципе не может причинить особенного вреда. Нехорошо только, что она засела в непосредственной близости от зрительного нерва, который лишь по счастливой случайности не задела. Случившееся «нехорошо» неизмеримо лучше того «нехорошо», которое могло случиться. В иные моменты (в зависимости от колебаний внутричерепного давления) не исключается плотное прилегание дробины непосредственно к зрительному нерву. Правый глаз при этом, возможно, будет слезиться. На этот случай опытные врачи предусмотрели специальные глазные капли, которые Леон отныне должен постоянно иметь при себе.

Леон оценил юмор врачей. Правый глаз был неизменно сух. Прилегание дробины к зрительному нерву выражалось в том, что дробина дробила картину мира, но Леон скорее предпочел бы окриветь, чем вступить в новые отношения с врачами.

Он понял, что врачей не миновать, как только пришел в себя на полу в крови, с опаленно-прожаренной, начиненной дробью, как черным перцем-горошком, головой.

Впрочем, сначала, после калейдоскопическо-ворончатого (от слова воронка, а не ворона) кружения, после недолгого (а может, долгого, кто знает?) провала, когда сознание вернулось настолько, что он сумел отличить жизнь от смерти, понять, что номер с коммунизмом не прошел, первая оформленная мысль Леона была вовсе не о врачах, а о том, что дело не сделано.

Вторая мысль: почему не сделано?

Изображение в правом глазу было разбито вдребезги. Левый видел нормально. Если не считать, что как бы через монокль красного стекла. Уши слышали. Леон вспомнил, что, уходя в коммунизм, не слышал звука выстрела. Был какой-то мерзостный пук. Из дула ружья, как из сдвоенной трубы, курился вонючий дымок. Он еще успел подивиться: как тихо при коммунизме! Леон догадался, что дело не сделалось потому, что патроны от долгого лежания в коробочке утратили боевую мощь. Порох отсырел, а может, высох капсюль. Только красный галстук на шее пионера-тетерева не потерял цвета. Леон понял, что ему с его глазами и ушами не дожидаться Красной Шапочки – коммунизма. Действие, как в устаревшей Программе КПСС, сюрреалистически сместилось: вместо Красной Шапочки пожаловал охотник!

Третья мысль: можно ли доделать дело?

Леон пошевелил руками и ногами. Вроде бы слушались. Сумел даже сесть на ковре. Но лишь на мгновение и с немедленной потерей сознания. Нечего и думать было по новой заряжать стволы. Но если бы ценой сверхъестественных усилий и удалось, где гарантия, что очередные патроны выстрелят как полагается?

Четвертая мысль была революционно-демократической: что делать?

Отдохнув на спине, Леон перевернулся на живот. С заливаемым кровью лицом (любое движение заставляло кровь, как жизнь при товарище Сталине, бежать лучше и веселее), дополз до закрытой на задвижку двери. Как в фильме ужасов, поднялся на подгибающихся, воздушных ногах, печатая по белой двери кровавые абрисы ладоней. В вертикальном положении Леон почувствовал, что, несмотря на то что вместо выстрела получился пук, голова тяжела, как гиря. Удивился: да как же можно быть живым, когда в голове столько свинца? После чего собрал последние силы, крикнул в кухню, откуда доносились позывные программы «Время» в стекляннорюмочной (как раз чокались) окантовке: «Мама! Я хотел собрать ружье, а оно... выстрелило! У меня кровь из головы, мама!» И уже ничего не видел, не слышал, ваяясь в коридор навстречу до боли родному, в русских локонах, широкоскулому пьяноватому лицу.

Очнулся в больнице.

Так что, если быть точным, только пятая его мысль была о врачах, причем мысль эта отнюдь не являлась продуктом свободного сознания, а была строго детерминирована, то есть обусловлена неоспоримым фактом пребывания Леона на больничной койке в крови и в бинтах.

Леону понравились врачи, непосредственно занимавшиеся своим врачебным делом: копавшиеся длинными, сверкающими в огне ламп операционной инструментами в его правом глазу, выковыривавшие из головы прижарившиеся, как гренки к яичнице, свинцовые дробины, обрабатывавшие, подрезавшие ножницами обожженную кожу. Они были суровы и немногословны, эти врачи с погасшими глазами, серыми от усталости лицами. Чем-то они напоминали учителей.

Совсем не понравился Леону каким-то образом прознавший про него врач-психиатр из районного психдиспансера.

Леон неоднократно беседовал с ним в ординаторской.

В ординаторской было убого и несвободно, как в кабинете следователя. И так же негусто с мебелью: продавленный кожаный черный диванчик, похожий на сапог, стол, стул, вешалка, на которой висели серенькие белые халаты, почему-то с расплывшимися штемпелями: «Киевский райпищеторг г. Москва». На окнах, однако, отсутствовали решетки, да и разговаривал психиатр относительно спокойно, насколько это было возможно для врача из районного психдиспансера, разговаривающего с уличенным в попытке суицида подростком.

Сидя за столом, врач задавал вопросы и непрерывно писал. Леон, вжавшись в изношенный сапог-диванчик, недоумевал: неужели скудные, однозначные его ответы дают основания для столь бурного, в духе Федора Михайловича Достоевского, сочинительства?

Психиатр сразу заявил, что не надо ему вешать на уши лапшу про «несчастный случай». В красках живописал Леону, что того ожидает в случае постановки на учет в психдиспансер, куда, как известно, ставят на учет всех несостоявшихся самоубийц. В институт – только в самый тупой, гидромелиоративный, в армию – исключительно в стройбат к чуркам, за границу ни в жизнь, разве только со стройбатом в Афганистан восстанавливать разрушенное, к этому идет, раз в два месяца на собеседование, каждый год, как штык, на обследование с электрошоком, барбитуратнитрат-бромиды внутривенно и внутримышечно. Потом, правда, врач заметил, что да, конечно, время сейчас либеральное, точнее, развальное, но ведь, совсем как недавно отец, процитировал Гераклита, все течет, все меняется, не может нынешний маразм длиться вечно, кто-нибудь да остановит крепкой рукой либеральные розвальни. «Родители у тебя кто?» – поинтересовался врач. Леон ответил. «Они тебе лучше объяснят», – сказал врач, а затем (в десятый, наверное, раз) поинтересовался: что все-таки побудило Леона свести счеты с жизнью? И Леон в десятый же раз повторил, что произошел несчастный случай, не собирался он сводить счеты с жизнью. На что психиатр пустился в рассуждения, что вполне понимает Леона: не хочется жить после того, как совершишь гнусность, превосходящую меру человеческого разума. И все смотрел, смотрел в глаза Леону не тусклым, как у остальных врачей, а блестящим птичьим взглядом. И все писал, писал, как будто склевывал что-то с нищего ординаторского стола.

Предположение психиатра, как ни странно, сообщило Леону волю к жизни, так как если чего еще в жизни он не совершил, так это именно гнусности, превосходящей меру человеческого разума. Пока что гнусности, совершенные Леоном, вполне укладывались в эту самую меру. Даже оставалось свободное местечко. А психиатр гнул свое: помешать обдуманному самоубийству может только Господь Бог. С единственной целью: чтобы согрешивший покался, облегчил душу. При упоминании Господа Бога блестящий птичий взгляд психиатра становился проникающе-змеиным. Под этим взглядом Леон змеино же соскальзывал то ли в сон наяву, то ли в длинный, как тело анаконды, обморок. Потом просыпался на кирзовом диванчике со странной легкостью в теле, но со свинцовой тяжестью в затылке, снова видел перед собой пишущего психиатра.

Леон не сомневался: психиатр не в себе.

Когда он явился на очередную беседу, из ординаторской вышел угрюмый синелицкий, как марсианин из произведений Рэя Брэдбери, парень с перевязанными до локтей руками, как будто в толстых белых нарукавниках. «Что, – хмыкнул парень, – и тебя раскалывает на малолетку?» – «Малолетку?» – удивился Леон, «Вот придурок, – выругался парень, – даже если бы я изнасиловал, придушил и закопал малолетку, на кой мне кончать с собой? Какая тут взаимосвязь?» – и, нехорошо рассмеявшись, пошел по больничному коридору мимо коек, на которых хрипели не поместившиеся в палаты, привезенные ночью переломанные мотоциклисты.

Последняя беседа с психиатром получилась протокольная. Он попросил Леона рассказать с точностью до минут, чем он занимался с тринадцати ноль-ноль до пятнадцати сорока в день накануне. «Несчастливого случая?» – уточнил Леон. Психиатр поморщился, но не стал вспоминать ни про гнусность, превосходящую меру человеческого разума, ни про Господа Бога, якобы ожидающего от Леона покаяния. Как-то он охладел к Леону, услышав, что с девяти до четырнадцати тридцати тот находился в школе (это могли подтвердить одноклассники и учителя), а с четырнадцати тридцати до шестнадцати двадцати играл в футбол на школьной спортивной площадке, что опять-таки могли подтвердить две команды по семь игроков в каждой, а также русский физкультурник, изображавший из себя судью.

На сей раз в глазах психиатра не наблюдалось блеска, тусклы были его глаза, как и у остальных врачей в больнице. «Выздоровливай, – зевнул он в лицо Леону. – Если понадобится, позову, – и, когда обрадованный Леон схватился за ручку двери: – А вообще-то самоубийство, особенно для мужика, трусость. Если, конечно, не гомосек и не схватил СПИД. У тебя пока нет СПИДа. Живи и радуйся!»

Леон вышел.

У окна ждал парень. На сей раз он шел вторым. Повязки на его руках за это время сделались значительно тоньше.

– Чего придурок лепит? – поинтересовался парень.

– Лепит, что самоубийство – трусость. Особенно для мужика. Если, конечно, не гомосек и не схватил СПИД, – честно передал Леон.

– Ага, трусость! – разозлился парень. – Попробовал бы сам, козел!

– Ты как? – шепотом поинтересовался Леон.

– Не видишь, что ли? – усмехнулся парень. – Вены резал. Левую путем развалил, а правую... – махнул забинтованной рукой. – Как ее разделить, если левая рука уже не действует? Эта вена, – брезгливо продолжил парень, – она такая синяя, как червяк, скользкая, падла! Я и так, и так... Одно понял: надо быстрее сечь, пока руки слушаются.

– Что ему говоришь? – кивнул Леон на дверь ординаторской.

– Понятно что, – пожал плечами парень, – баловался с бритвой.

– Опасной? – зачем-то уточнил Леон.

– Ага, если бы опасной или скальпелем, – хмыкнул парень, – зубами бы догрыз. Дурак я, лезвием «Нева»! Тупой черной совковой сволочью!

Тут из ординаторской вышел психиатр, и они замолчали.

Леону было смертельно скучно в больнице.

Через пару дней он отправился на поиски бритвенного парня, но обнаружил того выпивающим, бранящимся с санитаркой из-за пропавшего полотенца. «Тот солдат тоже говорил, что не брал, – бубнила санитарка, – а сам пять штук на портянки!»

Парень был не радостен, не грустен, но спокоен. Что-то даже насвистывал себе под нос. Марсианская синева на его лице несколько разбавилась. Теперь обескровленное лицо парня было цвета голубоватой раковины, какие в последние годы потеснили в квартирах и учреждениях неизменные белые.

– Больше не вызывал? – спросил Леон, лишь бы что-нибудь спросить.

Он давно уяснил: самые достойные люди те, кто не ищет общения с другими, а если случается в силу обстоятельств познакомиться, совершенно не стремятся к продолжению знакомства. Бритвенный парень был именно таким. Не он пришел к Леону. Леон пришел к нему. Леон крайне редко по собственной воле ходил к кому бы то ни было.

– Ящик, что ли, не смотришь? – спросил парень. – Вчера по Москве передали: взяли дядю, который душил малолеток.

– Вот как?

– А ты думал, – усмехнулся парень, – ему и впрямь интересно: самоубийство или несчастный случай? Плевать он хотел! По милицейской линии разнарядка: проверить всех, кто на себя покушался, может, кто из них? Ладно, мне пора, – вскинул на плечо сумку, пошел к лестнице.

Леон остался на месте. Бежать за парнем он не собирался. Пусть даже тот очень достойный человек.

Леону стало грустно. Ему всегда становилось грустно, когда он чего-то не понимал, но понимал, что это «что-то» вровень или выше, но никак не ниже его понимания или непонимания. Ему казалось, они с бритвенным вроде как братья по несостоявшейся смерти, какие-то в мнимом этом братстве прозревал Леон объединительные бездны, а бритвенный, похоже, не придавал этому ни малейшего значения.

Леон смотрел парню вслед и не мог отделаться от мысли, что парень знает что-то такое, что Леону бы тоже не худо знать, но вот парень уходит, и теперь Леон ни в жизнь не узнает. Если, конечно, не принимать за это сообщение, что совковым лезвием «Нева» вены не вскрыть. Миновав пролет, парень остановился.

– Эй! – крикнул не оглядываясь. – Еще стоишь?

– Ухожу, – ответил Леон.

– Если ты хотел покончить с собой, – обернулся парень, – а у тебя ни хрена не вышло, это не означает, что, когда ты выйдешь из больницы и тебя вдруг кинутся убивать, ты будешь благодарен этим людям, – и – мягкий топот кроссовок по каменным скорбным ступенькам.

А вскоре и самого Леона выписали из больницы, перевели на амбулаторный режим.

Все эти дни, сидючи ли дома за книгой, насекомьи ли выставясь из окна в пятнисто-мозаичный двор, в поликлинике ли, в так называемой чистой перевязочной, где медсестра, поджав губы, вместе с кровавой коркой отрывала от головы присохшие тампоны, Леон частенько вспоминал слова парня.

Едва только выйдя из больницы на залитый солнцем теплый асфальт, он подумал, что было бы очень неплохо, если бы кто-нибудь прямо сейчас убил его. Только кому он был нужен – шатающийся дистрофик с изуродованным лицом, с головой в бинтах, как в чалме или в шлеме пилота? Недолетевшего до цели пилота?

Но когда Леон выбрался на улицу во второй, в третий раз, ему уже не очень хотелось, чтобы его убивали. А еще через несколько дней он развил, дополнил мудрейшую, как ему открылось, мысль парня: «Если ты хотел покончить с собой, а у тебя ни хрена не вышло, это не означает, что, когда ты выйдешь из больницы, тебе снова захочется покончить с собой». Леон понял, что выздоровел. Больше он не будет пытаться покончить с собой.

В своей комнате в книжном шкафу Леон обнаружил цветную фотографию класса, сделанную в этом учебном году. Долго всматривался в маленькие, как гривенники, лица, с трудом вспоминая, как кого зовут. Единственная царская золотая пятерка живо поблескивала в затертом тусклом ряду. Но и до Кати Хабло Леону дела не было. О чем с ней говорить? Его более не интересовали ни будущее, ни судебный (от слова судьба) ход планет.

Как, впрочем, и все остальное.

Образовалась пауза, годная разве лишь на то, чтобы шлифовать до евангельского совершенства проклятую мысль, от которой Леон избавился. А отшлифовав, убедиться, что и она

никуда не годится. Леону открылось, что, пока мысль жива, она не нуждается в шлифовке. С утратившей же жизнь мыслью можно делать все что угодно.

Мать читала лекции в издыхающем обществе «Знание».

Отъезд, естественно, пришлось перенести.

Отец пытался починить машину, а когда не пытался, челночил по городу в поисках водки.

Водка с трудом, но собиралась. Все разных сортов, как если бы отец был настоящим водочным гурманом. Или хватающим что попадется алкашом. Истина, как всегда, находилась посередине.

Пузатенькая польская «Житна». Длинношея «Пшеничная», почему-то ашхабадского ликеро-водочного завода с верблюдом в кружочке. Забытая партийная семисотпятидесятиграммовая «Посольская», зябко укутанная в белую шуршащую бумагу. Пяток реликтовых четвертинок «Российской» в синеватых – с пузырьками – бутылках.

Отец, как заботливый старшина, ежевечерне пересчитывал по головам формирующееся в рюкзаке на кухне водочное ополчение. «С таким рюкзачком мы нигде в России не пропадем!» – без конца повторял он и радостно потирал руки.

Мать и Леон устали выражать восхищение водкособираательной энергией отца. В многотрудном этом деле он явил энергию, достойную Минина и Пожарского.

В магазинах не было ничего. Разумно было бы озаботиться и съестными продуктами. Но отец всякий раз приносил... водку. «Когда нечего купить, тянет на водку», – сокрушался он. «Ты, Ваня, больше по магазинам не ходи, – поморщилась мать, – жратву я сама добуду».

В воскресенье вечером накануне отъезда Леон заглянул в кухню.

Отец сидел на стуле. На полу перед ним раскрытый рюкзак с бутылками. Отец доставал по одной, лучисто смотрел, опускал обратно, награждая снисходительными шлепками по крепким стеклянным задкам.

– Собираюсь, – отец смутился, поскущел, как обычно смущается и скучнеет человек, когда его отвлекают от интересного, требующего сосредоточенного одиночества дела.

– Где маленькие достал? – подбодрил его Леон.

– У грузчиков в гастрономе, – оживился отец. – Вот ведь какое дело, – испытующе посмотрел на Леона, – идет к тому, что это будут единственные на Руси деньги. Жидкие купюры. Изначально все заложено. Грамм – копейка, рубль, червонец, да хоть тысяча. В зависимости от инфляции. Вот эти, – кивнул на четвертинки, – готовые двадцатипятирублевки. Эта, – приподнял польскую «Житну», – полусотенная. Ну а эта красавица, – трепетно прикоснулся к шуршащему платицу «Посольской», – трехчетвертная. Семидесятипятирублевка. В сущности, никаких других денег в оставшееся для России время уже не понадобится.

– А литровую? – поинтересовался Леон. – Отчего не ввести сторублевку?

– Непредсказуемая купюра, – быстро отозвался отец, и Леон понял, что он над этим думал, – может вытеснить и обесценить все остальные. Тяжеловата в употреблении. Нет, сторублевку не потянем.

Тут ввалилась полумертвая от стояния в очередях мать. Как робот, прошагала на кухню, поставила сумки на пол, со стоном села на табуретку, опустив голову и руки.

Леон смотрел на ее русые локоны, широкоскулое лицо, голубые, но сейчас бесцветные от усталости глаза и думал, что мать – самый что ни на есть народ. В очередях, где она сегодня весь день стояла, никому и в голову не могло прийти, что эта женщина – преподаватель научного коммунизма.

Если раньше коммунистичность матери носила во многом служебно-внешний характер – в аудиториях, на партсобраниях, семинарах, ноябрьских и майских демонстрациях, единых политднях и т. д., – сейчас сделалась затаенно-внутренней, идущей от сердца, превратилась в тот самый праздник, который, по утверждению Хемингуэя, всегда с тобой. Главным образом, конечно, в очередях.

Это свидетельствовало, что народ, плоть от плоти которого была мать, ненавидящий коммунистов народ, тем не менее носил в сердце коммунистичность, выражающуюся хотя бы в том, что предпочитал оставаться с праздником очередей, но не трудиться. Народ ненавидел коммунистов по-коммунистически. То есть в лучшем (для коммунистов) случае хотел отобрать у них добро (как это в свое время проделали с народом сами коммунисты), в худшем – истребить всех коммунистов (как те, когда были в силе, истребляли народ). Получалось, что народ коммунистичен, а коммунизм народен. Леону казалось странным, что бесспорные эти мысли не приходят в голову нынешним теоретикам. А если приходят, они почему-то об этом молчат. Стало быть, все, что сейчас происходило, всего лишь обольщало душу народа, в действительности же (как и всякое обольщение) шло против его сердца. Неужто, упорствуя в коммунизме, отец и мать не отрывались от народа?

– На первое время еды хватит, – кивнула на сумки мать. – Потом отец еще подвезет.

Отец засуетился, растащил сумки по углам, выдернул из рюкзака «Посольскую».

– Единственная радость, – достал из холодильника колбасу, банку шпрот, поставил на стол стаканы. – Единственная пока еще доступная и пока еще радость. Особенно после дня в очередях.

– Ты же хотел с собой, – в безнадежном, как зола, взгляде матери мелькнула искорка жизни.

– «Посольскую»? В Зайцы? – воскликнул отец. – Не поймут! К тому же Петя отныне трезвенник!

Они выпили, закусили, повеселели. Отец расправил плечи. У матери заблестели глаза, на щеках заиграл румянец. Она сделалась очень даже симпатичной. И усталость как рукой сняло.

Жизнь, еще мгновение назад ненавистная нынешняя жизнь, вновь показалась родителям достойной обсуждения.

Впрочем, обсуждение оказалось кратким. Ибо все у родителей было давно обговорено: и про обольщение народа, и про верные коммунизму сердца.

Выпили по второй.

– Сволочи! Э, да что говорить! – махнул рукой отец, предложил по третьей.

Мать отказалась и ему не позволила. Отцу и Леону завтра ехать на неисправной машине.

Родители ушли из кухни. Их веселые голоса доносились из прихожей. Они никак не могли отыскать резиновые сапоги, без которых Леон пропадет в Зайцах.

Леон плеснул себе «Посольской».

В общем-то, ему не хотелось, но он не мог забыть, как только что преобразились на его глазах усталые и опустошенные родители. И Леону захотелось преобразиться. В момент, когда наливал, правый глаз стал видеть по-насекомьи. Бутылка предстала голубой мозаичной рыбой, вставшей на хвост. Водка в стакане претерпела спектральное разложение. То ли жидкую радугу, то ли пылающий ацетон проглотил Леон, чудом не пронеся теряющий форму, плавающий в руке стакан мимо стрекозьего рта.

Обычно, когда картинка в правом глазу распадалась, наполнялась дробным свинцовым ветром, Леон попросту прикрывал правый глаз, предпочитая насекомьему видению темноту. А тут, хлебнув «Посольской», заев колбасой, исполнившись сил и уверенности, прикрыл левый человеческий глаз и полетел, пополз, поскакал по изменившейся квартире, как оса, муравей или кузнечик.

Леона выручало то, что практически каждый человек с нормальными рефлексам может однажды пройти по собственной квартире с закрытыми глазами без особого риска что-то разбить или на что-то налететь. Вытянув вперед руки (лапки?), Леон отважно ступил в дробящийся, мозаично-жидкий, как бы разноцветно текущий в берегах-стенах коридор.

Мать с отцом к этому времени отыскиали в прихожей один сапог и сейчас увлеченно спорили, где может быть второй. Леон не горел желанием принять участие в поисках, поэтому

завернул в родительскую спальню, где на стене висел знаменитый ковер с белыми профилями классиков марксизма-ленинизма.

Сейчас, впрочем, ковер более напоминал экран компьютера, на котором шла многосложная электронная игра. Профили замесились на экране в ком из теста. Он ежесекундно менял форму, словно неведомый игрок собирался что-то из него вылепить, да только никак не мог решить, что именно.

Леону прискучило прихотливое мелькание. Он решил поменять глаза, перейти в человеческий зрительный режим.

Но вдруг белый ком на экране-ковре четко и окончательно превратился в профиль (посмертную маску), в котором Леон с изумлением узнал... собственное лицо, каким оно станет, если он доживет до глубокой старости. Проклятая же мысль бритвенного парня, которую Леон столько времени шлифовал и наконец отшлифовал до евангельского совершенства, вдруг зажила собственной жизнью, побежала белыми буквами по ковру, как некогда другая мысль буквами огненными по мрамору Валтасарова дворца в Вавилоне: «Если ты хотел покончить с собой, но у тебя не вышло и ты выбрался из больницы живой, тебе все равно не жить, потому что убьем тебя мы!»

Это другая мысль, успел подумать Леон, как по ковру пробежало, угасая, продолжение: «Если хочешь, чтоб мир был твой, присоединяйся!» Тут же профилей на ковре стало пять. Последний – старческий Леонов.

В правом глазу дернулось, он стал вновь видеть по-человечьи. Но Леон не обрадовался возвращению. Его не оставляло чувство, что с человеческого мира уже снята посмертная гипсовая маска.

Выехали из Москвы ранним утром, которое провели в очереди за бензином. Так что уже и не ранним, а просто утром.

Первый раз машина заглохла на Ленинградском проспекте. Затем периодически глохла в самые неподходящие моменты (во время обгона), в самых неподходящих (на перекрестках, когда давали зеленый свет) местах. Лишь высочайшим классом других водителей, а скорее всего, случайностью можно объяснить тот факт, что в них никто не врезался.

Дергающаяся, пунктирная, с руганью езда продолжалась до автострады Москва – Рига, которую немецкая строительная фирма «Вритген» довела пока только до Волоколамска.

На автостраде заглушка чудесным образом прекратилась. Сто с лишним километров пролетели с ветерком. Отец приободрился, стал мечтать, как они сегодня с дядей Петей тяпнут за ужином водочки под копченого угорька. Дядя Петя отписал, что в озере, на берегу которого стоит его дом, тьма угрей и судаков. Леон пожалел отца, мечты которого в последнее время свелись к водке и еде, еде и водке. Стоило миновать Волоколамск, на узком в выбоинах, как будто его расстреливали с самолетов, шоссе беспечальная езда закончилась.

Они как раз затесались в колонну автобусов, везущих детей в пионерский лагерь. Пару раз отцу удавалось запускать заглохший двигатель на ходу, так что только падала скорость и автобусы сзади возмущенно сигналили. В третий раз пришлось мертво встать посреди шоссе, скатиться на обочину не удалось, так как именно в этом месте шоссе было ограждено высоким бордюром.

Неловко так получилось.

Вставшие автобусы гудели, как библейские иерихонские трубы. Потом стали объезжать, и каждый проплывающий водитель лаял сверху из кабины. Первым отец вяло отвечал, затем угрюмо смолк, подняв стекло, как воротник на пальто. Водитель последнего автобуса даже ничего и не пролаял, просто брезгливо посмотрел на набычившегося за рулем отца, как на живую кучу навоза.

– Так дальше ехать нельзя! – воскликнул отец, долбанул кулаком по рулю.

Тишину пустого шоссе нарушил жалобный, как крик подстреленной цапли, звук сигнала. Ужин с водочкой и копченым угорьком становился проблематичным. Не в смысле водки, которая была с собой, а в смысле копченого угорька, до которого надо было доехать. Леон удивился, что отец так поздно уяснил, что так дальше ехать нельзя.

– Но тогда как? – прорычал отец.

– С исправным двигателем, – сказал Леон.

– С исправным двигателем не получается, – спокойно ответил отец. – Никак не получается. Хоть умри.

Леон чуть было не поинтересовался: а, собственно, почему? Но удержался, так как вступать в разговор на эту тему значило торить дорогу в безумие, повторять зады только что прослушанных по радио новостей экономики. В магазинах пусто, а на складах и в неразгруженных (почему?) вагонах гниют продукты. Свое зерно под снег, чужое за золото. Нет бутылок, а их, оказывается, миллионами крушат на пустырях бульдозерами. Экономическая (и прочая) жизнь в стране была иррациональна. Все тропинки, дороги, сработанные немцами автострады вели не в Рим, но в безумие. Сбиться с пути было попросту невозможно.

Отец сам был сеятелем иррационального – преподавал научный коммунизм. Но почему-то раздражался, когда иррациональное прорастало из теории в практику повседневного существования. Отец предпочитал, чтобы урожай собирали другие.

Кое-как на второй передаче (почему-то в этом режиме двигатель меньше глохнул) добрались до ближайшей бензоколонки.

– Это невозможно! – отец ткнул пальцем в красную мигающую точку на приборе, свидетельствующую, что бензин на исходе. – Мы в Москве залили полный бак, а проехали меньше двухсот километров. Как же так?

Судорожно дернувшись, машина (на второй передаче) стала напротив кирпичной будки, из окна-бойницы которой, как некормленная рыба из аквариума, смотрела хозяйка бензоколонки.

Отец выскочил из машины, хлопнув дверью.

Леон тоже решил размяться. Вышел и чуть не упал, так стремительно бросилась под ноги мозаично расчлененная насекомья земля. Но взгляд выправился, вынырнул, как самолет из штопора. Леон устоял, схватившись за дверцу.

Отец тем временем приблизился к окошку. Там имелась небольшая витринка с запчастями.

– Не все безнадежно в стране, – удовлетворенно произнес отец, – рынок работает. Запчастей как в Америке. Все куплю! Дядя Петя перебьется, вернусь, пошлю деньги по почте. Всего двести километров от Москвы, чудеса!

– Ты там внизу читай! Купит он! Ишь ты, купщик! – хрюкнула хозяйка.

– Ничего, – улыбнулся провинциальной ее наивности отец, – переплата меня не пугает.

– Там все расписано, – улыбнулась столичной его наивности хозяйка. – Читай, мужичок!

– Только для сдатчиков сельхозпродукции, пайщиков потребкооперации, – прочитал отец. – Аккумулятор (СФРЮ) – сто килограммов шерсти-сырца. Свечи зажигания (ФРГ) – двадцать килограммов... чего?.. бычьих семенников. Генератор (НРБ) – шкуры коровьи, принимаем собачьи, сырые, пять, собачьи пятнадцать штук. Тромблер (Италия) – тыквы, одна тонна. Сволочи! – крикнул отец.

– Да будь просто за деньги, – довольно хмыкнула хозяйка, – тут бы очередь от самого Ржева стояла. Ну, насмешил, мужичок!

Леон почувствовал, что в ее власти продать отцу и генератор и аккумулятор, только вот отец не нашел подхода к прихотливому, избалованному сердцу хозяйки. Потому ничего она ему не продает. Еще Леон обратил внимание, что хозяйка – не старая еще женщина. Но близость к дефициту, за который люди готовы на все, убила в ней сострадание к (этому самому,

готовому на все) ближнему. Если нет сострадания к ближнему, человеческое (не важно, мужское, женское) лицо превращается в говорящую задницу.

– Ну хоть бензина, красавица, налей, – зловеще и спокойно произнес отец.

Леону не понравилось, как он сказал. Так, наверное, разговаривал перешедший Рубикон Юлий Цезарь. Лютер, очнувшийся на горе после удара молнии.

– Двадцать литров налью, – с сожалением ответила хозяйка. – Больше не положено, у меня полторы тонны на сутки. – Но встретившись глазами с отцом, быстро передумала. – Могу, конечно, и сорок.

Леон испугался: неужели отец сейчас чиркнет спичкой и сожжет, как в американском фильме, бензоколонку?

– И канистру? – слова отца звучали как приказ.

– И канистру, – как эхо, отозвалась хозяйка.

Леон перевел дух. Он не подозревал в отце способностей в духе Кати Хабло. Сейчас отец вполне мог приобрести за наличные и генератор, и аккумулятор, и тромблер. Но открывшаяся в водах Рубикона, ослепительном свете Лютеровой молнии истина была столь значительна, что не предполагала размена на мелкие личные выгоды. Подразумевался иной – куда более крупный – выигрыш. Хотя, если вдуматься, мог ли быть для советского автолюбителя выигрыш крупнее, чем аккумулятор, генератор и прочее? Стало быть, отец собирался выигрывать не как автолюбитель.

Леону только оставалось надеяться, что он знает, что делает.

– Какой тут ближайший город? – строго спросил отец.

– Нелидово, – испуганно выдохнула хозяйка.

– Сколько километров?

– Пятнадцать. Через два километра поворот направо, там указатель.

– В Нелидово есть станция техобслуживания?

– Улица Ленина, шесть.

Расплатившись, отец залил бак и канистру, сел за руль, тяжелой рукой повернул ключ зажигания. Машина немедленно завелась и не смелаглохнуть, пока выезжали с бензоколонки, ехали по шоссе до поворота на неведомое Нелидово, и после поворота держалась молодцом.

Как будто внезапно обретенная отцом власть над действительностью распространялась на неодушевленные предметы, к каким относилась машина.

Как будто в закручивающемся над страной смерче хаоса отец прозрел некий стержень, взявшись за который можно было, подобно Богу, усмирить смерч. Углядел звено, ухватив которое можно было вытащить из ревающего, взбесившегося дерьма всю цепь.

Отец, уверенно ведущий ревушую на второй передаче, как это самое дерьмо, машину, объяснил, что это за стержень, что за цепь.

– Сволочи! – сказал отец. – Они забыли, кто в этой стране хозяева, сволочи!

Леон с интересом посмотрел на отца. Насекомий глаз дрянно подшутил: волевое отцовское лицо вдруг сделалось нематериальным, как призрачные профили на вишневом ковре. «Они хозяева? – удивился Леон. – Опять?»

И все равно любо было смотреть на подтянувшегося, посуровевшего, обретшего под ногами почву отца. Двухдневная его щетина, наводившая прежде на мысль о некоей деградациии, сейчас выглядела победительно и мужественно, как на лице солдата, который сидел в окопе, стрелял в неприятеля, и, следовательно, не было у него времени побриться черным советским лезвием «Нева».

Только вот источник, откуда отец черпал живую силу, был мертв, и охраняли его привидения.

Леон подумал, что слишком уж подробно-подробными сделались его мысли. И бессмысленными, как рассыпающаяся по стеклу дробь. Заключенная в патрон дробь стреляет, хоть и

не всегда. Рассыпающаяся по стеклу – никогда. Леон рассыпал свою дробь. Отец свою собрал в патрон. А побеждает всегда тот, у кого дробь в патроне.

– Все, что сейчас происходит в стране, – мерзость! – с невыразимым отвращением произнес отец. – Подлейшая, вреднейшая чушь! И исправлять надо, как умеем! И лучше всего – как умеем лучше всего! Только так. Иначе... – недоговорил, настолько непереносимым было «иначе», злобно, как в прицел, сощурился, стиснул зубы.

А между тем уже бежал вдоль дороги в зелени травы и деревьев, в безлюдье и запустении деревянный город Нелидово.

И встали на пустынной, залитой солнцем центральной площади, в середине которой, как и положено, помещался приземистый остроплечий идол в блатном кепарике на несоразмерном подставце-кубе. Как будто готовили под размер побольше, но в последний момент урезали смету. Потому-то, зная, и казался идолок обиженным и злоумышляющим. Эдаким вздернувшим плечики хулиганом пер на народ, поигрывая в кармане ножичишкой.

За спиной хулигана виднелся трехэтажный, под красным знаменем каменный (бетонный) райком или горком. Впереди – низкий ряд кривых деревянных домов-магазинов, в которых угадывалась вонючая пустота. По правую руку (одесную) – каменный (кирпичный), вымоченный дождями, иссеченный выюгами, недоразрушенный храм-скелет с переплетенной, завязанной в узлы арматурой вместо куполов. В узлах густо расположились грачи и вороны – последнее, по всей видимости, православные существа на Руси.

Нелидово не производило впечатление места, где можно приятно провести время: отдохнуть, пообедать, погулять, осмотреть достопримечательности, купить в дорогу продуктов (вообще что-нибудь купить), в особенности же починить машину. Хотя какие-то машины нет-нет да и проскакивали по площади.

– Хватит стоять! – машина взревела. Они подлетели к райкому-горкому, как коммандос на джипе. – Со мной или посидишь? – отец выхватил из бумажника красно-золотое, иконное, с гербом удостоверение Академии общественных наук при ЦК КПСС.

– Посажу, – Леон понял, что ему не угнаться за помолодевшим отцом.

Отец рванул по ступенькам, как спортсмен.

Леон выбрался из машины. Воздух в Нелидове был прозрачен и чист. Очевидно, на заводы, которых здесь не могло не быть, уже не завозили сырье. Или повыходило из строя оборудование одна тысяча девятьсот сорок второго года. Грачи и вороны разлетались с купольной арматуры. Служба закончилась.

Леон обратил внимание, что лестница, возносящая здание райкома-горкома над площадью, устроена своеобразно. Первая и последняя ступени чрезвычайно широки.

Леон вспомнил, что подобные ступени, кажется, называются стилобатами. И еще вдруг ни к селу ни к городу вспомнил про свободу, у стилобата которой кто-то когда-то в чем-то клялся. Леон, как ни старался, не мог доподлинно вспомнить, кто это был, когда жил и зачем клялся, зато с уверенностью вспомнил, что клятвы своей тот, неведомый, не сдержал.

Свобода, подумал Леон, похожа на неискушенную провинциальную девушку, которой лихие молодцы обещают то любовь до гроба, то законный брак. А в итоге запирают в публичный дом. И еще подумал, что у райкомовско-горкомовского стилобата звучали не менее страстные клятвы в верности партии. Но если свободу еще можно было вообразить в образе обманом загнанной в публичный дом честной девушки, партию – только в образе пожилой, густо намазанной, выходящей в тираж проститутки, знававшей лучшие времена, но более не могущей содержать многочисленных молодых сутенеров. Конечно, и та и та вызвали жалость. Но если первую следовало жалеть, как Сонечку Мармеладову, вторую, как... старуху-процентщицу?

Леон, впрочем, не успел додумать до конца эту мысль, пустить ее прыгать дробью по стеклу.

Сопровождаемый кем-то безликим, серокостюмным, на верхнем стилобате появился отец. Серокостюмный вычертил в прозрачном нелидовском воздухе многоугольник сложнейшего маршрута. Обилие ломаных пересекающихся линий наводило на мысль о пятиконечной звезде Соломона или шестиконечной звезде Давида, а то и древнеиндийской, опороченной Гитлером, свастики. Даже не верилось, что в Нелидове возможна такая путаная езда.

– Симпатичные ребята, – отец сел за руль, твердой рукой запустил двигатель.

Мотор заработал как часы. Словно машина была металлическим на колесах членом партии, осознавшим прежние заблуждения, окончательно определившимся среди геометрических фигур.

– Только немного растерялись, – добавил отец. – Выпустили из рук вожжи. Хотя им здесь, в глубинке, все карты в руки. В Москве партии нет, а здесь... Даже не верится. Ничего, – засмеялся весело и энергично, – сумерки – не ночь. А ночь для партии – время наслаждений.

– Куда мы едем? – спросил Леон.

– Что? – лицо у отца было одухотворенным, как у поэта в момент сочинения стихотворения. Сопричастность чему-то значительному, одному лишь ему известному читалась на лице отца. Точно таким же, конструктивно-задумчивым, погруженным во что-то свое, бесконечно родное и одновременно в государственно-общественное (не менее свое и родное), помнится, однажды вернулся отец после встречи с секретарем ЦК КПСС. Вскоре они переехали из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную. У отца вышла толстая книжка в «Политиздате». Его повысили по службе. Вероятно, и в государстве с обществом дела пошли на лад. – Куда едем? А на станцию техобслуживания, – спохватился отец. – Потом в гостиницу.

– В гостиницу? – не поверил Леон.

– Не ночевать же в машине, – ответил отец. – В восемь у меня выступление перед здешним партхозактивом. Первый секретарь пристал с ножом к горлу: выступи да выступи. Неудобно отказываться. Тем более он звонил на станцию. Тут все как в старые добрые времена. Ну, а утром – вперед!

Некоторое время ехали молча. Машина подскакивала на ухабах. Деревянное черное Нелидово выглядело странно притихшим, обезлюдевшим – ни трезвых, ни пьяных! – в ранний летний вечер. Сюда доставали белые ночи. А потому дома, колодцы, неторгующие киоски, задумчиво пережевывающие траву вдоль обочин коровы, белые и пестрые куры и петухи, чистые небеса, дальние горизонты – все как бы очутилось в прозрачном светящемся мешке. С ветром обнаруживалось мерное колыхание мешка, как будто Господь Бог (кто же еще?) шагал с мешком за спиной неизвестно куда.

Леон почувствовал, как отдаляется от обретшего себя отца, как твердеет между ними воздух, превращаясь не в слово – нет, в свободонепроницаемую стену. Потерявший себя, попивающий, парадоксально философствующий, небритый, не могущий починить машину отец был ему неизмеримо ближе, нежели нынешний, вернувшийся в свободонепроницаемость, как в пуленепробиваемый жилет.

Вероятно, тут имел место ущерб в мировосприятии. Только кто из них был более ущербен? Ситуация запутывалась тем, что мировоззренческий ущерб (Леон был в этом абсолютно уверен) имел такое же право на существование, как и так называемая норма. Поскольку один лишь Господь Бог, несущий в светящемся мешке за спиной Нелидово, доподлинно знал, что ущерб, а что норма. Но молчал, поощряя соревнование, в котором в победителях неизменно оказывалось нечто неизмеримо более худшее, нежели норма или ущерб.

Голодное нищее Нелидово, издевательски раскинувшееся среди плодородной земли, лесов, озер – одним словом, среди Божьего мира, где все изначально было предусмотрено для сытой счастливой жизни, казалось в высшей степени свободопроницаемым. Леон приравнивал тезис «Бог есть свобода» к очередному (какому по счету?) доказательству бытия Божия. То

был как бы невидимый локомотив, к которому манило прицепить раздолбанный, сгнивший на запасных путях, ржавый состав, чтобы он умчал его небесной магистралью к благодати.

Но что-то не сцеплялось.

Локомотив оставался немощным на свободопроницаемых нелидовских просторах. Господь Бог повагонно свалил Нелидово в светящийся мешок да и вскинул на плечо. Только вот ходил он, похоже, по кругу, как ходят растерявшиеся, заблудившиеся или водимые бесами. «Значит, не свобода, – подумал Леон, – другой уголек потребен этому локомотивчику».

Леон вдруг увидел прямо в небе, там, где солнце лежало уже не на носилках, а в гробу, и был тот синий гроб украшен белыми звездами, недвижный локомотив, определенно иностранного вида, бессильный сдвинуть с места длинный состав из черных нелидовских изб, коробчатых пятиэтажек, разрушенных храмов с кружащимися над ними православными врановыми, брошенных полей, бетонных со стилобатами и без оных райкомов-горкомов; огорченного, пенсионного вида Бога в железнодорожной фуражке, а рядом отца, почему-то в ленинском блатном кепаре, снисходительно похлопывающего Господа по плечу: «Хреновый из тебя железнодорожник, дед! Может, где и можешь, но не на нашей Октябрьской дороге!» Леон провел рукой перед лицом, отгоняя отвратительное видение.

Уже стояли перед шлагбаумом, запрещавшим въезд на территорию станции техобслуживания. По обе стороны проезда тянулись плотные ряды машин. Было удивительно, что в небольшом нищем Нелидове столько легковых автомобилей. И еще более удивительно, что все они неисправные.

Отец решительно (он теперь все делал решительно) поднял шлагбаум.

Наглый, самовольный их въезд в святая святых вызвал у находившихся там клиентов и обслуживающих их мастеров (выглядело, впрочем, как если бы суесящиеся, что-то нащептывающие, невпопад улыбающиеся клиенты обслуживали прохаживающихся, суровых, надменно-брезгливых мастеров в черных промасленных комбинезонах) два сильнейших, но параллельных, то есть не приводящих к немедленному действию, чувства: живейшую неприязнь и упорное нежелание замечать. Конечно же, всем хотелось немедленно выразить неприязнь, но как это сделать, если объект неприязни как бы не существует?

– Пойдем со мной, – сказал отец.

– Не будешь запирасть? – удивился Леон.

– Здесь можно не запирасть. Эй, любезный! – зычно обратился отец к проносящему на плече, как бревнышко на субботнике в Кремле, новенький глушитель мастеру. – Где директор?

Из вырвавшегося из уст того матерного шипа: «А ххху... зна... бя... ктор... там на... рху...» – можно было заключить, что кабинет директора находится на втором этаже (станция была двухэтажной), а вообще-то директор может быть где угодно.

Но он оказался у себя в кабинете, директор по фамилии Апресян.

Перед кабинетом имелось подобие приемной. На железных, с облупленными фанерными сиденьями стульях маялись нервные люди, держащие в руках единообразно свернутые в трубочки заявления. Один из них вдруг посмотрел на отца и Леона в эту самую бумажную трубочку, как адмирал Нельсон в подзорную трубу.

– У меня назначено, – коротко проинформировал очередь отец и, не дожидаясь возмущенных возгласов, проследовал вместе с Леоном в кабинет.

Директор нелидовской станции техобслуживания легковых автомобилей «Жигули» Апресян о чем-то тихо и раздумчиво совещался со смуглым, заросшим щетиной человеком в дорогой кожаной куртке, не могущим быть не кем иным, как бандитом или рыночным (а может, не рыночным, а каким-нибудь оптовым) торговцем.

– Слушай... – недовольно обернулся этот самый бандитствующий торговец.

– Пусть товарищ Апресян послушает, – перебил отец. – В приемной полно людей. Русских, между прочим, людей, местных жителей. А он целый час занят с... кем?

– Слюшаю вас, – тускло произнес Аapresян.

– Слюшай, ты как разговариваешь? – изумился торгующий бандит. – Ты кто, фашист, этот... из «Памятника»? Почему сеешь междунационалистическую рознь?

– Товарищ Аapresян, – возвысил голос отец. – Пригласить людей из приемной?

– Слюшаю, слюшаю вас, – Аapresян сделал знак рыночнику замолчать.

Оскорбленный, тот отошел к окну, задымил «Данхиллом».

Отец заявил, что прибыл в Нелидово по решению... подпольного ЦК, чтобы провести специальный семинар с местной властью. Семинар состоится сегодня в восемь вечера в актовом зале райкома-горкома. Не худо бы и товарищу Аapresяну попристутствовать.

– Ты с какой горы свалился? – не выдержал одной из проживающих вблизи гор национальности рыночник. Его сознанию оказалась не чужда некая примитивная образность. – Где эта подпольная ЦК? Какой семинар? Нет никакой ЦК, разогнали вашу ЦК! Ты где живешь? Где ходишь?

– Помолчи, Аслан! – махнул рукой Аapresян. – Вы много говорите, – обратился к отцу. – Если вы пришли, чтобы пригласить меня на семинар, я с благодарностью принимаю ваше приглашение. Больше ко мне вопросов нет, товарищ... как вас?

– Есть, – вздохнул отец.

– Слюшаю вас, – усмехнулся Аapresян. Отец коротко изложил суть дела.

Аapresян снял телефонную трубку, распорядился прислать к нему какого-то Гришу.

Потянулись минуты томительного ожидания.

Говорить отцу, Аapresяну, неизвестной национальности рыночному бандиту было решительно не о чем. Но и никак было не разойтись – в такой противоестественный узел завязались доминирующие в обществе силы: недобитая партия (ее в данный момент представлял отец), рынок (небритый торговец), связующее звено между властью (перелицевавшейся партией) и рынком – Аapresян – коррумпированный мафиозный хозяйственный руководитель, жаждущий приватизации. Ждали Гришу – народ, рабочий класс, во благо которого, как утверждалось, революционно изменялись в стране производственные отношения.

Наконец объявился Гриша, оказавшийся тем самым малым, несшим на плече (явно на сторону) членистый новенький глушитель, изъяснявшийся шипящим, как змея или проколота камера, матом. Каким-то он показался при пристальном рассмотрении дефективным, Гриша, с открытым, как клюв у птицы, ртом, скошенными лбом и подбородком, отчего лицо его напоминало рыцарское забрало.

– Гриша, – сразу же поставил отца в невыигрышное положение коварный Аapresян, – мне позвонил первый секретарь нашего горкома, да-да, тот самый, которому ты делал «Волгу», попросил помочь товарищу. Посмотри. Дефицит, сам знаешь, у нас по записи для инвалидов и ветеранов. Товарищ не инвалид и не ветеран. Расчет на общих основаниях, – повернулся к отцу, – с первого июня по решению трудового коллектива мы перешли на договорные цены.

– Загоняй в угол на третий подъемник, – бросил Гриша и, не дожидаясь ответа, покинул кабинет.

Отец и Леон устремились следом. В дверях услышали, как Аapresян и докуривший свой «Данхилл» торговец гортанно заговорили на незнакомом языке.

Очередь по-прежнему безропотно ожидала, свернув заявления на ремонт в белые трубочки. Рехнувшийся смотрел в свою сквозь окно на небо, уже как Коперник в телескоп. Впрочем, он мог смотреть куда угодно и как угодно: ни победы над неприятельским флотом, ни новой звезды ему было не высмотреть.

– Быдло, – достаточно внятно, чтобы очередь расслышала, пробормотал отец, – проклятое быдло! Сколько можно сидеть, терпеть! – махнул рукой.

Странно.

В кабинете Апресяна отец был как бы чрезвычайным и полномочным представителем несчастного русского народа, томящегося в приемной, пока два восточных человека обговаривают темные делишки. Добившись же чего хотел, вдруг, как ракета от пустой ступени, отделился от оставшегося в томлении народа, более того, вздумал его судить.

Каким-то он сделался многоликим, обретший под ногами почву отец. Прежде он был одинаков – подавлен, неуверен, растерян – со всеми: с Леоном, матерью, сантехником, врачом, членом ЦК КПСС, директором Института Маркса – Энгельса – Ленина, однажды вечером смятенно позвонившим ему домой. Нынче же меньше чем за час: вдохновенно-победителен в райкоме-горкоме, вельможено-вымогающ с Апресяном, презрительно-высокомерен по отношению к свернувшей в трубочку заявления на ремонт очереди. Леону открылось, что свободопроницаемый человек неартистичен, высокоморален и скучен, как... Господь Бог. В то время как свободонепроницаемый – эффектен и театрален, как... сатана.

С Гришей отец решил быть народным в самом скверном – партийно-вельможном – понимании народности. Понес какую-то похабщину с покушениями на юмор.

Гриша сдержанно хмыкал, кривил лицо-забрало.

Липовая отцовская народность осталась невостребованной.

– Мразь! – прошипел отец, когда Гриша уселся за руль, чтобы самолично поставить машину на подъемник. – Мразь! Я должен унижаться перед такой мразью! – Гнев изрядно обеднил эпитетами отцовскую речь. – Боже мой, во что превратилась наша страна!

После чего, отринув похабствующую народность, отец коротко проинформировал Гришу, что, если тот сделает все как надо, с него, отца, помимо оплаты по грабительскому прейскуранту, еще и поллитра.

Глаза у Гриши, равнодушно нависшего над мотором, потеплели. Лицо-забрало просветлело, как, должно быть, светлели лица под настоящими забралами у настоящих рыцарей, когда прекрасные дамы им кое-что обещали.

– Добро, – обнадежил Гриша, запустил руки в мотор, тут же и вынес приговор: – Реле залипает. Не проходит ток от генератора, вот и вырубается.

– Ну и? – тревожно выдохнул отец.

– Зачистить язычки, – широко (во все забрало) зевнул Гриша, показав собственный, обставленный редкими черными пеньками зубов, язык, уставший зачищаться самогоном, – и все дела. Минутное дело.

Приговор был легкий, как десятирублевый штраф вместо отнятия водительского удостоверения.

– Ты там и другое посмотри, – нашелся отец, – чтобы мне не плакать о поллитре.

– Масло могу поменять, фильтры, – служебно перечислил Гриша, – сход-развал гляну. Чего еще? Клапана в норме. Приходи через час.

– Ты уж не подведи, браток, нам далеко ехать, – отец незаметно сбился на неуверенно-просящий тон.

«Вот она, наша русская свобода», – подумал Леон. Гриша не удостоил ответом.

– Мразь! – прорычал отец (далось ему это слово!), когда вышли на воздух. – Власть и водка! Больше ничего этому народу не нужно. Чем тупее, злее, враждебнее к нему власть, тем она ему милей, потому что понятней. А водочка – политика! Водочка – жидкая душонка народа, вот и щупать-щупать его за душеньку!

Хорошо ведет себя, послушненько – снизить ценочку. Не выполнил пятилетний планчик, не собрал колхозный хлебушек – приподнять. И чтобы ничего своего, все общественное! Чтoб головенку из нищеты не смел высунуть! Чтoб все мысли: как бы выжрать да ноги с голодухи не протянуть. Вот тогда, мразь, будет слагать песни о мудрой партии. Или какая там будет власть.

– Уже было, – возразил Леон, – да и сейчас продолжается. Водочка, конечно, душенька, но не вся душенька водочка. А главное, нет перспективы.

– Есть перспектива! – трубно, во весь огороженный двор станции техобслуживания крикнул отец.

Если у Гриши глаза всего лишь потеплели от обещанной водочки, у отца – воспламенились белым космическим огнем от решительно никем не обещанной, скорее отобранной, перспективы. Она пьянила отца сильнее водки. Внутри свободонепроницаемости он обрел не постижимую свободу. Или сошел с ума. Что было в общем-то одно и то же. Беда стране, где у подлых людей глаза воспаляются от водки, у образованных – от свободы внутри несвободы. Двум встречным огням по силам спалить мир.

Преследующие мастеров клиенты, убегающие от клиентов мастера на мгновение замерли, как в детской игре, пораженные вестью, что, оказывается, есть перспектива.

– Есть перспектива, – повторил отец уже значительно тише.

– Какая? – тоже тихо, как будто они сговаривались на кражу, спросил Леон.

– Мировая революция! – вдруг завопил отец. – Ее просрали, предали, променяли на счета в швейцарских банках! Но они забыли, проклятые ублюдки, забыли, забыли, что... – в голосе отца сквозь праведный гнев прорезались причитающе-кликушеские интонации.

– Забыли что? – Леон был совершенно спокоен за отцовский рассудок. Свободонепроницаемые люди с ума не сходили. Потому что были сумасшедшими.

– Забыли, что мировая революция – тысячелетняя мечта народа-богоносца! – громко и спокойно возвестил отец.

То было какое-то безумие при ясном разуме. И шансов восторжествовать у него было куда больше, нежели просто у безумия или просто разума.

Присутствовавшие во дворе съезжились, втянули головы в плечи. Они были бессильными песчинками на страшном холодном ветру мировой революции. И, несмотря на либеральное чтиво последних лет, многоротый демократический ор на митингах, свободные выборы, на которых они каждый раз фатально избирали не тех, в глубине души осознавали это, так как были изначально, всем своим существом враждебны труду, не желали признавать, что налаженный, организованный до мелочей быт (без дощатых, продуваемых ветром мировой революции сортиров) есть самая что ни на есть культура, причем наиболее близкая и доступная народу, так как он сам ее создает (должен создавать) и сам же ею пользуется (должен пользоваться). И не было в их душах Бога, ибо Бог был не только и не столько свободой, сколько трудом, великим трудом, так как иначе не создал бы все сущее за каких-то жалких шесть дней.

Потому-то, зная, никто не возразил отцу: ни вороватые мастера, ни унижающиеся (здесь, а у себя на работе, надо думать, не менее вороватые) клиенты, ни мусульмане, развернувшие возле станции торговлю шашлыками из местного мяса по баснословным ценам. Только крохотный, украдкой писающий у забора мальчик слегка удивился, услышав разом про Бога и революцию. Про Бога ему иногда говорила бабушка. Про революцию – учителя в школе. Но говоря про Бога, бабушка никогда не вспоминала про революцию. Учителя, говоря про революцию, – никогда про Бога.

– Ни один нормальный человек сейчас, если только он не законченная сволочь, не может мечтать о мировой революции, – сказал Леон. – Это противостоит естеству и аморально.

Разумные, однако, слова его прозвучали совершенно безжизненно. Как будто он говорил диким зверям за вегетарианство. Только где звери, где хищники? Хищен, как ни странно, был сам прозрачный луговой нелидовский воздух, давненько не нюхавший мяса.

– Наверное, – легко, как стопроцентно уверенный в собственной правоте человек, согласился отец. – Но против воли Божьей не попрешь.

– Божьей воли? – удивился Леон. – В чем она?

– В том, что наш народ отказался от Бога и от свободного труда, – отец ронял слова, как свинчатку, – принес себя в жертву.

– Мировой революции? Или... Богу?

– В жертву, – вздохнул отец, – чтобы сделать все другие народы несчастными. Если, конечно, получится.

– Значит, мировая революция...

– Неизбежна, – подтвердил отец, – пока ее хочет Бог и покуда существует наш народ. Русский народ будет существовать до тех пор, пока Богу угодна мировая революция.

Так за разговором минул испрошенный Гришей час.

Отца изумил длиннейший перечень работ, указанный в шуршащем фиолетово-расплывчатом счете, который ему предстояло немедленно оплатить в кассе. Изумляла и сумма. Как будто за этот час Гриша по винтикам разобрал и заново собрал машину, исправив, заменив, проверив все, что только можно было исправить, заменить, проверить.

Между тем он решительно не производил впечатления выбившегося из сил, проделавшего титаническую работу человека. Гриша стоял возле машины под щитом «Курить строго воспрещается!», покуривая, и улыбка на его стальном лице-забрале напоминала неразгаданную улыбку Моны Лизы Джоконды.

Отец сник, победоносное коммунистическое его веселье, как снег, растаяло в лучах Гришиной улыбки, удивительно скверно дополняющей перечень якобы совершенных работ.

В этой улыбке, как в узелке, который не смог поднять былинный богатырь Святогор, сквозила неподъемная земная сила. В бездонную пропасть улыбки свистящими валунами летели пятилетние и семилетние планы, миллиардные капиталовложения, нулевые циклы, всесоюзные ударные стройки, денежные, аграрные и прочие реформы, хозрасчет, самообразование, госприемка, химизация и мелиорация, рабочий контроль, приватизация, военные патрули, съезды, отряды самообороны, пленумы, продовольственные и непродовольственные программы, мятежи, Чернобыли и Семипалатински, исторические и неисторические решения. В улыбке бесследно растворялось все хорошее и плохое. И только шире, загадочнее она становилась. Невольно думалось: есть ли что-то в мире, чтобы встало костью поперек глотки, смахнуло веником с лица-забрала оскорбляющую Бога улыбку?

Отец, стиснув зубы, оплатил чудовищный счет, пожертвовал самой невзрачной (зеленой, с кривой наклейкой) бутылкой водки, как пожертвовал Бог несчастным русским народом.

А пожертвовав, обнаружил на аккумуляторе какие-то болты с шайбами и хомутики.

– Это что? – хмуро поинтересовался у Гриши.

– Где? – бутылка бесследно, как астероид в космическом пространстве, исчезла в черных промасленных глубинах Гришиного комбинезона. – А... – небрежно смахнул обнаруженное на промасленную же ладонь. – Лишние, я там новые поставил. – И снова улыбнулся отцу улыбкой Джоконды.

Отец, теряя сознание от бессилия пред этой улыбкой, с белым, как чистый лист, лицом, оставивший в кассе сто с лишним рублей, осиротевший на бутылку водки, сел за руль.

Всю дорогу вслух, как будто один был в машине, нетвердым голосом убеждал себя, что, наверное, все-таки Гриша сделал все, что указано в гаргантюанском перечне, они, мастера, делают все мгновенно, автоматически, ведь не глохнет, не глохнет же машина, клапана не стучат, тормоза вроде лучше схватывают, определенно мягче едет, просто великолепно едет, новая так не ездила. Ну а если... Он вернется! Он покажет этой мрази!

А с верхнего стилобата райкома-горкома невыразительный серокостюмный посматривал на вылезавших из машины отца и Леона с объяснимым сомнением. Первичный благородный порыв, безжалостно укрощать в себе который советовал Талейран, успел остыть. На

лице серокостюмного прочитывалось мучительное желание повнимательнее взглянуть в документы этого преподавателя из несуществующей более Академии общественных наук при ЦК КПСС. Зачем прибыл в богоспасаемое Нелидово? О чем собирается толковать с аппаратом райкома-горкома?

Видимо, отец, как самолет в небе, излучал отличительный партийный сигнал «свой», потому что в момент рукопожатия тревога ушла с лица серокостюмного. Он дружески повел отца боковыми (жреческими) ходами к храму-сцене. Леону было велено подняться по главной лестнице в зал и сидеть там вместе с активом в креслах.

Внушительный деревянно-коврово-бархатный зал, с бело-гипсовым алтарным, укутанным в кумачи Ильичом, был заполнен, как по весне погреб картошкой, едва ли на четверть. Человек семьдесят, не больше, коммунистов – аппаратчиков и хозяйственников – пришло на встречу с отцом. «Достаточно, – подивился остаточной организованности коммунистов Леон, – если принять во внимание, что партия разогнана и они понятия не имеют, кто он такой».

Серокостюмный перечислил названия книг, учебников, написанных отцом, его научные звания. В зале раздались снисходительные ностальгические аплодисменты. Так аплодируют доброму прошлому, неизбывная прелесть которого с каждым прожитым днем все очевиднее, но которое не вернуть, нет, не вернуть.

Отец взошел на трибуну, сумрачно вперился в угасающе шлепающий ладонями зал.

– Тут у меня листки, – отец, к изумлению Леона, потряс в воздухе коричнево-желтыми, сухими, как осенние листья, квитанциями со станции техобслуживания. – Набросал, как положено, тезисы перед выступлением, – гипнотически обвел зал круглыми совиными глазами. – А потом подумал: а зачем, собственно, как положено, кем положено, когда положено? Хе-хе... – картаво, как алтарный Ильич, если бы он вдруг выпростался из кумача, рассмеялся. – Вот я сейчас их! – торжественно, как фокусник, вознамерившийся извлечь за уши из цилиндра кролика, поднял руки с листками вверх и... спохватившись, что, если и впрямь разорвет, на станции потом ничего не докажешь, скомкал листки, быстро спрятал в карман, предъявив напряженной аудитории пустые руки. – Что мне в коммунистах Нелидова? – с горчинкой в голосе продолжил отец. – И что коммунистам Нелидова во мне, незваном госте? Мне не привыкать излагать расхожие прописные истины. Вам не привыкать слушать заезжих ораторов, думаю, немало их тут перебивало. Не лучше ли употребить случайную нашу встречу, – вдруг гладенькой скороговоркой, как покушающийся на интеллигентность бонвиван в безнадежном разговоре с девушкой, произнес отец, чудом выпустив слово «мадемуазель», – для определения истины в конечной инстанции, если, конечно, таковая существует. Не конечная инстанция, естественно, а истина. О, она сродни тайному разветвляющемуся подземному ходу, – шелестяще прошептал отец, – раздвоенному змеиному жалу.

Леону было не отделаться от ощущения, что отец, привычно долбанув водяры, заев бесформенным, как сдувшийся дирижабль, магазинным огурцом, излагает все это на кухне матери и друзьям-сослуживцам. Только на сей раз кухня сильно раздалась вширь и ввысь, из кумачей снисходительно посматривал гипсовый шеф-повар, матери не было, а вот друзей-сослуживцев (поварят) прибавилось.

– Я! – Леон вздрогнул: на кухне отец не смел истеричничать. – Я, Иван Леонтьев, русский, коммунист с августа тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, доктор философских наук, автор книг и учебников, кавалер трех орденов и четырех медалей, лично знакомый с Жоржем Марше и Фиделем Кастро, не говорю о нашей бывшей партийной номенклатуре, хочу впервые в жизни, подчеркиваю, впервые в жизни, совершенно откровенно, как пред Господом Богом, которого нет, здесь, в Нелидове, поделиться своими мыслями с вами, незнакомыми, неведомыми мне людьми!

В зале послышался недоуменный ропот.

– А вы, – подобно Демосфену, взметнул руку отец, – вольны, если вам не понравятся мои мысли, стянуть меня с трибуны, вышвырнуть вон!

На это сомнительное, хоть и демократичное, предложение зал откликнулся бурными аплодисментами.

– Откуда, – спросил отец, надо думать, не сильно ими ободренный, – поползла смута, ввергнувшая нас в экономическую и национальную катастрофу? Извне? У меня нет иллюзий насчет Запада, но смута пришла к нам не оттуда. Тоска по иному качеству жизни, да, имела место, но у нас были возможности, благодаря поездкам, а также нашим специальным магазинам, отчасти утолять эту тоску, разве не так? Изнутри? Нет. Хозяйство функционировало в общем-то исправно, государственная машина, хоть и нуждалась в определенном усовершенствовании, действовала. На выборы являлись девяносто девять и девять процентов избирателей. Снизу? Нет. Народ был чист и спокоен. Из партии люди выходили исключительно со смертью. Единственная критика, которую позволяла себе наша храбрая интеллигенция: что мало принимают в партию деятелей науки и культуры, писателей и журналистов, отдают почему-то предпочтение рабочим, хотя интеллигенты не менее верны. Случаи массового неповиновения властям были единичны и не носили осмысленного политического характера. А как же диссиденты? – спросите вы. Не будем лукавить, товарищи. Даже забавно было иметь в каждом районе своего карманного диссидента, зачастую мы сами создавали их, чтобы народ держался бодрее, не терял бдительности, не только теснее (куда теснее?), а и веселее спланивался вокруг партии. Вы помните, как наши прекрасные советские люди по первому намеку ломали им заборы, били стекла, писали матерные письма, выгапывали огороды. Как наши честные, любящие партию продавщицы обвешивали и обсчитывали их в магазинах, им же за то хамили, плевали в харю, после чего мы сажали диссидентов на пятнадцать суток, а то и на три года за хулиганство или за распространение венерических заболеваний, какому секретарю райкома какая статья нравилась. Как наши добрые ангелы-медсестры вкалывали им хинин под видом успокоительного, и эти диссиденты, выйдя из больницы, падали без чувств, и тут уже было налицо нарушение общественной нравственности – пьяная наркоманическая скотина валяется без чувств возле больницы, где ходят дети, опять можно сажать в тюрьму, запирает в сумасшедший дом. Как пожарники опечатывали их поганые жилища, а стоило им сломать сургуч, их тащили в суд, выписывали штраф за нарушение правил противопожарной безопасности. Как их морили в карцерах и КПЗ вместе с клопами и тараканами, и они потом ползали по карцерам и КПЗ, как эти самые недомеренные клопы и тараканы. Ха-ха-ха... – зловеще, в тишине и одиночестве, рассмеялся отец. – А пионеры, наши славные Павлики Морозовы, бросали им в очко сортира дрожжи, и дерьмо сносило диссидентские сортиры, как праведный гнев советского народа-богатыря. Нет, друзья, смута пришла к нам не снизу. Народ нам верил до последнего. Помните, как он вострепелся на андроповские новации. Сколько писем, доносов, сигналов сразу хлынуло во все адреса, как укрепились дисциплина на предприятиях, выросла производительность труда. Яснее народ не мог выразить, чего он ждет от партии, но мы позволили пропасть народному порыву втуне. Так откуда же пришла к нам смута? – по примеру античных ораторов отец завершил вводную часть повторением коренного вопроса, сообщая речи тем самым широчайший разлив, как бы помещая слушающих в Ноев ковчег. Им ничего не оставалось, кроме как внимать из ковчега отцу, парящему над библейскими словесными водами ястребом, но не голубем.

– Мне горько об этом говорить, но порча пришла к нам сверху, то есть от самих себя! – он вновь вскинул вверх руку, но на сей раз пружинно, динамично, как бы подавляя возможные возражения из зала, которых, впрочем, не последовало. Тих, смущен был зал, как тих и смущен бывает человек, впервые в жизни явившийся узнать судьбу к колдуну или астрологу. – Кто, – вкрадчиво спросил отец, – погуливал цветущими пряными южными ночами вдоль шумного моря на огороженной охраняемой даче, доверительно говорил собеседнику, что так дальше

жить нельзя? И собеседник с соседней дачи согласно кивал. А в санатории поблизости, тоже огороженном, тоже охраняемом, много было таких, кто искренне считал, что нужно так, как есть? Единицы. Их держали за ортодоксов, выживших из ума маразматиков, не принимали в расчет. Но спустимся пониже, на наш, так сказать, срединный уровень. В баньках, под водочку, под пиво, на рыбалках-охотах вечером у костерка кто из нас не заводил привычную шарманку, что дальше так нельзя, и все наши споры были о том, до какой степени нельзя и как именно валить: обвалом или постепенно, медленным отступом? Эта мысль змеей, – образ змеи определенно сейчас доминировал у отца, потеснив мразь, – вползла к нам в головы, свила там гнездо. Змеиное гнездо! – зачем-то торжествуя и гневно уточнил отец, как будто змея могла свить какое-то иное. – Позволить угнездиться в голове подобной мысли – все равно что заболеть СПИДом! Когда власть начинает сомневаться в своем праве контролировать действительность, она перестает быть властью! – отец вколотил неожиданно родившийся из пены слов тезис в тишину зала, как сверкающий на солнце гвоздь в сухую доску.

Леон обратил внимание, что многие, в особенности почему-то женщины, усердно конспектируют. А кто не конспектирует (видимо, за неимением блокнотов), смотрит на конспектирующих с завистью.

– И завершая затянувшееся вступление... – отец выдержал паузу. – Не волнуйтесь, дальше пойдет быстро, как по маслу, которое вскоре исчезнет.

Зал оживился: «Уже исчезло!»

В оживившийся от исчезновения масла зал отец послал второй гвоздь-тезис, скрепляющий сказанное намертво:

– Мы, власть предержащие, окончательно и бесповоротно утвердились в мысли, что дальше так жить нельзя, в то самое время, когда народ окончательно и бесповоротно утвердился в мысли, что так жить можно, более того, только так жить и нужно! Вот, если коротко, суть трагедии.

Зал загудел: «А Чернобыль? А пшеница за золото? Куда делись нефтяные миллиарды? Чурбановщина! Адыловщина!» И зааплодировал. Аплодисменты пересиливали. Громче всех, стоя, аплодировал широкоплечий, стройный молодой подполковник в красных петлицах мотострелка.

Отец подождал, пока в зале стало тихо.

– В мире нет ничего более неправдоподобного, чем истина, – произнес мягко и увещательно. – Истина, в отличие от закона, имеет обратную силу. Мы действуем, как будто ее не существует, а потом страшно удивляемся, когда нас судят за то, что мы действовали не по истине. Нас обязательно будут судить.

То была старинная российская мозоль: страх, ожидание репрессий неизвестно (или известно) за что. Отцу не следовало на нее наступать. Люди имеют обыкновение злиться не на мозоль, а на того, кто наступил.

– Нельзя ли конкретней? Ближе к делу! Что вы имеете в виду? О какой истине говорите? Сформулируйте! Какая тема семинара? От какой вы партии? – закричали из разных рядов.

– Конкретней? – вдруг завопил, выпучив глаза, отец. Старательно конспектировавшая женщина с укладкой, с человеческим, но уже начинающим каменеть лицом (наверное, недавно поступила на работу в райком-горком) испуганно выронила ручку. – Ближе к делу? – усиленному микрофоном отцовскому голосу-ястребу стал тесен актовый зал. – Хорошо, я буду краток. Когда вещь разделяется в себе, она перестает быть полноценной функциональной вещью. Точно так же партия, разделившись в себе, перестала быть властью. А может ли существовать без власти огромное многонациональное государство? Нет, без власти оно обречено на распад и гибель. Посмотрим, по какому же принципу разделилась партия. Добро бы одна часть полагала, что дальше так жить нельзя, а другая – что можно. То был бы спасительный раскол – начало исцеления. Нет, партия разделилась по иному принципу, точнее, совсем не по прин-

ципу. Одна часть выступает, чтобы разрушить все до основания. Другая – тоже разрушить, но не до основания, а, скажем, до второго или первого этажа. В главном – разрушить – разноголосий нет! Это текучее непринципиальное разделение по принципу сообщающихся сосудов. Люди будут бесконечно перетекать туда-сюда, делая конфликт неразрешимым. Пока вода не зацветет и ее к чертовой матери не выплеснут! Разделение партии губительно для государства еще и тем, что ни одна из сторон не сумеет окончательно победить, взять всю власть. Но даже если и возьмет в результате какой-нибудь ошеломительной провокации, это ничего не изменит. Почему? Думаю, никому здесь не надо объяснять, что наши противники на самом деле никакие не демократы, а худшая, наиболее циничная, продажная, карьеристская и беспринципная часть партии. Либеральствующие эластичные стукачи, бывшие помощники, спичрайтеры, консультанты, референты, советники, прочая мразь, доедавшая объедки с секретарских столов, готовая написать, доказать, обосновать что угодно. Всех их в свое время поперли с партхлебов. Они затаили злобу. Расставшись с партбилетами, не изменили холуйской сути. Почему же нам не скрутить, не прижучить разбушевавшуюся мразь? Почему мрази окончательно не заморочить людям головы, не истребить нас? Отвечу: потому что и для нас, и для них вся полнота власти при тех идеях, какие мы сейчас исповедуем, губительна! Взять власть – нам или им, неважно! – значит в считанные месяцы развалить страну! Мы – два кончика одного змеиноязычного языка. Окончательно и бесповоротно сможет победить лишь третья, равно опасная нам и им сила, которая обопрется на фундаментальное, природное, от Бога сидящее в каждом человеке с рождения и до смерти. То есть на те рельсы, по которым человек едет, как поезд, не замечая их. Что это за рельсы? Да вы не хуже меня знаете, тут тайны нет: национальное чувство, инстинкт собственника, затем – с оговорками – религиозность, применительно к нашей стране – вера в очищенное от скверны учение Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина!

Громовое добавление сброшенного с парохода (поезда?) современности Сталина вызвало в зале замешательство. Подполковник-мотострелок горячо заплодировал. Некто с демократическими усами, в модной джинсовой рубашке выкрикнул: «Позор!»

Отец в ответ улыбнулся так пронижительно и горько, что залу внезапно открылось: отец не сомневается в собственной правоте, но она причиняет ему боль. Таким образом, доверие к нему, как к человеку, не ищущему ни выгоды, ни популярности, то есть фанатику или юродивому, несказанно укрепилось.

– Посмотрим, – продолжил отец, – каков нынче в обществе расклад сил? Расколовшаяся, тонущая в словах власть и пока что помалкивающий народ, тот самый, давно решивший как жить, но за который мы решили, что так жить нельзя. Вероятно, нет необходимости объяснять, что ни мы, ни наши противники не можем опереться на религию, так как за семьдесят с лишним лет церковь превратилась в один из наших государственно-партийных департаментов, коррумпированных и прогнивших ничуть не меньше остальных департаментов. Опирайтесь на церковь, живя среди безрелигиозного народа, смешно и политически наивно. Не разыграть нам и картишку частной собственности, так как и для нас, и для противника настоящая крепкая частная собственность – смерть! И мы, и они можем политически существовать только в условиях распределительной системы, когда на распределении сидят наши люди и распределяют нам и кому мы скажем. Нашему государству еще долго оставаться марксистским.

В марксистском государстве принуждение и распределение есть два источника, две составные части власти. Разве только демократическая, сбросившая, как змея старую шкуру, партбилеты, мразь хапает наглее нас, прет в частнособственнические структуры, не понимая, что будет выброшена, подобно использованному презервативу, как только эти структуры достаточно окрепнут.

Нужда будет в таких, кто может производить, организовывать, генерировать идеи, а не в таких, кто – распределять, воровать, генерировать маразм. Нет ни нам, ни им спасения в национальном. Ибо и мы, и они исповедуем марксизм, а марксизм изначально и прежде всего

враждебен любой национальности. Царская Россия, с ее государственными и общественными, основанными на национальных особенностях русского народа, частной собственности, православной религии институтами, одинаково неприемлема для нас и для демократов. Не для того мы ее в свое время уничтожили, чтобы сейчас восстанавливать. Мы что-то нескладно бубним про коммунистическую перспективу. Они хотят по новой освоить страну, как будто это только что открытая Колумбом Америка, куда хлынут деловые предприимчивые люди и все вмиг переустроят, перебив для начала путающихся под ногами туземцев. Нам (по нашей идеологии) нищий злобный негр, коротающий ночи в подземке, готовый за понюх кокаина перерезать пол-Нью-Йорка, согнанный с земли араб с автоматом, хрипящий рикша, деклассированный европейский подонок-террорист куда милее своего русского – рабочего ли, колхозника, запуганного интеллигента. Негр, араб, рикша, террорист – пусть отрицательно заряженные, но частицы экономически живого мира, в них лютая злоба, энергия нетерпения, они – сухой горячий материал революции, бикфордов шнур дестабилизации так называемого мирового сообщества. В то время как нынешний русачок – чисто наше творение. В нем – равнодушие к собственной участи, генетическая неспособность к действию, терпение на грани смерти. Этот материал намок и смердит, как грязная шерсть под дождем. Он никогда не воспламенится, в лучшем случае погано надымит, в худшем – задушит сырой массой привнесенное извне пламя. И нашим противникам чужд и отвратителен природный русачок. В ненависти к нему они даже последовательнее нас. Они ставят на ничтожнейшего западного посредника-спекулянта, такого же рикшу, террориста на своем социальном уровне, приезжающего сюда, чтобы скупить-украсть последнее. Ему они готовы с потрохами запродать Россию, только бы она не досталась русскому. Неприятие национального – наше родовое, марксистское, тут ни мы, ни они через себя не переступим. Хотя, конечно, возможны исключения, – голос отца вдруг потускнел, сделался усталым и монотонным. – У нас – секретарь райкома, посещающий молебны, тайно ссужающий бумагу патриотической газетке. У них... Рабинович во главе комитета по возрождению русского земства.

Плечи отца оплыли над трибуной, как восковые. Леону вдруг открылось, что невозможно нормальному человеку верить в проклятый марксизм. И одновременно открылось, что невозможность нормальному человеку в него верить есть главная причина ирреальной в него веры ненормальных людей. «Они не люди, – подумал Леон, – они что-то другое».

– И для нас, и для них, – поднял плечи, победил слабость отец, – не существует в мире ничего более опасного, нежели национальная идея в естественном своем развитии, то есть органичное стремление того или иного народа жить нормальной, достойной жизнью. Но что же народ? – спросил отец.

По залу пробежал ветер: да надо ли о народе, нам ли не знать, что он тьфу, ничто!

– Надо, – вздохнул отец. – К сожалению, надо, поскольку это наш единственный и последний строительный материал. Другого не осталось. Был импортный – китайский, восточноевропейский, кубинский – да хреновый попался прораб, сдал налево ни за х...!

Конец фразы утонул в аплодисментах.

– Я буду вынужден повториться, – продолжил отец, и Леон понял, что только мысль о том, как он сладко выпьет и вкусно закусит после лекции, не иначе, поддерживает в нем силы. – Мы предали свой народ. Семьдесят с лишним лет мы перевоспитывали русский и примкнувшие к нему народы в новый – безнациональный, безрелигиозный, бессобственный – народ, готовый жрать стальные танковые гусеницы вместо хлеба, пить ракетное ядерное топливо вместо молока, гордиться, что у нас самая большая, самая вооруженная в мире страна, перед которой трепещет мир. Народ, результаты труда которого не видны. Который, как сухари, сгрызает собственные леса и недра, меняя их на то, что когда-то в изобилии сам выращивал. Которому для счастья не нужно ничего, кроме химической водяры, трупной колбасы да нищенской пенсии, до какой он, как правило, не доживает, так как стал под нашим управлением самым корот-

коживущим, допенсионным народом в мире. А для гордости – твердой уверенности, что на болотах точно так же давят и мордуют эстонца, на отравленных хлопковых полях – узбека, ну и повсеместно и непременно – старшего русского братана. И вот, когда народ стал таким, как мы хотели, когда мы расширили пределы его терпения практически до бесконечности – лишили его возлюбленной водки, колбасы, хлеба, молока, жилья, транспорта, одежды, роддомов, больниц, лекарств, моргов, чистого воздуха, кладбищ, пригодной для питья воды – всего, чего только можно лишить! – а он знай себе терпит, выстаивает в очередях да ходит на митинги с кумачами: «С Лениным – на тысячи лет!» или без кумачей: «Убийцу-Ульянова из Мавзолея вон!», мы вдруг надменно заявляем своему народу: ты не такой, ты мерзкий, недемократичный, уголовный, спившийся, не умеешь и не хочешь работать, возделывать землю, владеть собственностью, тебе не по уму современная технология, у тебя трясутся с похмелья руки, из-за тебя страна отстала на десятки лет, ты недостойн нас, знать не хотим тебя, ублюдка!

И вновь в зале установилась неправдоподобная тишина. У конспектирующей с начинающим каменеть лицом женщины ручка приросла к блокноту, такими неложящимися на бумагу были отцовские слова. Отцу внимали уже не как пусть парадоксальному, но партийному лектору, а как экстрасенсу, новоявленному психотерапевту, медиуму, впавшему в транс. Только бы не вздумал вызывать дух Ленина, испугался Леон.

– Мы оказались в положении декабристов, – продолжил отец, – то есть страшно далекими от народа. Но с одной поправкой: мы взяли власть! Все семьдесят лет мы жили неизмеримо лучше народа, слаще ели-пили, а в последние двадцать лет еще и поехали по миру, посмотрели, как там. Мы увидели, что наша «хорошая» жизнь – дерьмо в сравнении с той, И мы решили открыто и бодро двинуть себя и народ к новой жизни. Но... народ не пошел! Не принял, подлец, нашей милости. Он бы пошел в лагеря, отвоевывать Польшу, Финляндию и Аляску, построил бы еще один БАМ, осушил Каспийское море, пустил вспять реки, чтобы они затопили города, но... не пошел за нами в трудовой, правовой, изобильный европейский рай. Не отдал родимую очередь за водя-рой, гудящей, как улей, родной завод, где можно ни хрена не работать, сидящий на дотации у государства колхоз, никчемную контору, где десятилетиями миллионы бессмысленно протирают штаны с девяти до шести. У нас закружилась голова от успехов, мы купились на мнимую покорность народа, кажущееся его неучастие в собственной судьбе. А он, мерзавец, переиначил жизнь под нами на свой ублюдочный манер, выкопал, гад, навозную яму, в которой, опившись, подыхает и тянет нас за собой! А мы... – с величайшим изумлением в голосе произнес отец, – не хотим! Мы хотим жить в особняках, пить баночное пиво, ездить на «Мерседесах», отдыхать на Канарских островах! Мы подтянулись в саунах и бассейнах, на теннисных кортах, нам нравятся видеокамеры и доллары, но наш народ, мразь, не может нам этого дать! Да пусть гадина подавится своим Лениным! Его поганые трясущиеся руки изначально враждебны такому тонкому инструменту, как видеокамера! Уже выкачали почти всю нефть, вырубали под корень леса, а долларов все равно не хватает! Да, в перестроечные годы мы увидели истинное лицо своего народа и... ужаснулись. Это лицо дебила, уголовника, вурдалака. Лицо... настоящего коммуниста. Но других народов у нас не осталось, – мрачно подытожил отец, как уронил ведро в колодец. – Конечно, – продолжил, хмыкнув, – не одно поколение марксистов мечтало по-коммунистически править некоммунистическим, трудолюбивым, законопослушным народом. Но это, увы, несбыточная мечта.

Попавшийся народ или погибает, или, обдираясь в кровь, уходит, или же превращается во вполне коммунистический. Мы воспитали самый коммунистический народ в мире. Это при- скорбно, горько, негуманно, но если мы не хотим, чтобы народ пожрал нас, как пожрало Франкенштейна созданное им чудовище, мы должны править, удовлетворяя глубинным запросам нашего народа-коммуниста, которые давно определяются и формируются отнюдь не нами на наших бестолковых съездах и пленумах, а им самим, вот что страшно. Народ уже понял, что мы кость в его горле, проходимцы, уставшие от развала и безумия коммунизма, изменники,

возмечтавшие жить по-европейски, возжаждавшие сытенького покоя, тогда как народ жаждет голодных кровавых судорог. И я не понимаю, – растерянно произнес отец, – почему народ до сих пор нас терпит? Номинально мы в кабине паровоза, но состав идет в розовеющем тумане своим путем. Скоро хлынет кровь. Мы не можем ни притормозить, ни поддать пару, даже не видим рельсов, по которым идет состав. Разве что всемерно усилить, укрепить госбезопасность. Но, боюсь, поздно. Если мы хотим жить, если нам дорога великая идея, мы должны стать плоть от плоти, кровь от крови народа-коммуниста, – голос отца начал каменеть, как, впрочем, и лицо соседки Леона, твердой рукой возобновившей конспектирование. – Не мы семьдесят лет назад заложили программу в этот компьютер, – гремел отец, – не нам, неучам, следовательно, вносить коррективы. Программа будет доведена до конца! С нами или без нас. Но лучше, конечно, с нами. Компьютерная сеть защищена от всевозможных посягательств. Как бы мы ни лупили по клавиатуре, как бы ни насиловали процессор, нам не переиначить программу. А потому... – выдержал немую оглушительную паузу, выбросил вперед руку, как будто швырнул камень в морду сомневающимся. – Долой сомнения, будь они прокляты!

Зал заревел, заплодировал, затопал. Они устали от неопределенности, от абстракционистского смещения красок, от не-решения вопросов. Хотелось определенности, хотелось черно-белого, хотелось решать вопросы силой и страхом. Как только и могли эти люди.

Потому-то никакие вопросы в стране не решались.

– Не к тому национальному, о котором завывают недобитые писателишки-почвенники, – перевел зал отец, и Леону сделалось за него страшно, так он набылся, побагровел, так страшно вздулись у него на шее жилы, – не к тихому крестьянскому ладу, чтобы плыть в избе, как в подводной лодке, не к березкам, полям и родительским погостам стремится наш великий народ, а к мировой ядерной державе без России и Латвии, единому человечьему общежитью, где не будет белых и черных, а будут все одинаково смугленькие! Ядерные отходы от производства ракет и атомных электростанций – вот родительские погосты нашего народа! Миллион ракет, могущих уничтожить мир сто семьдесят пять раз, – вот его национальная гордость! Так пусть гордится! Дадим ему ракеты вместо хлеба, жилья, товаров, больниц, книг и загранпаспортов! Вернем Восточную Европу, Аляску, Финляндию, Карс, Ардаган и Афганистан! Тайная страсть нашего смугленького, без России и Латвии, – не подняться до чужого уровня, а опустить остальной мир до себя, мордой в парашу, как смазливенького мальчишку в тюремной камере. Наш великий народ – враг частной собственности. Так избавим его от этой мерзости, все заберем себе! Земля, недра, леса, поля, реки и небеса, заводы и колхозы, музеи и картинные галереи – все, все, все должно принадлежать райкомам, горкомам и обкомам. А можно – мэриям, префектурам, городским управам, плевать, как мы себя назовем! Ну а нефть, хлопок, золото, алмазы – все, что можно продать за доллары, должно принадлежать ЦК и Политбюро, мэрам, президентам, членам Государственной Думы, да хоть посадникам, князьям, боярам, великим каганам! Народу ненавистна религия, вызывающая к милосердию. Так пустим народ по храмам, церквам, квартирам этих обзаведшихся видеокамерами и компьютерами гомосексуалистов-священников! У нас должно быть стопроцентное атеистическое государство! Народ не может существовать вне исторической перспективы, сказки о светлом будущем. Это как пучок сена перед мордой голодного злобного ишака, до которого он никогда не доберется, скорее сдохнет. А потому... – отец перевел дух, набрал воздуха, заорал, как будто ему прижгли раскаленной кочергой пятки: – Да здравствует мировая революция! Да здравствует всемирный коммунизм! Партия, или что там вместо нее, торжественно провозглашает: нынешнее поколение всех людей на планете будет жить при коммунизме! Партия и наша всемирная интернациональная Родина едины! Слава великому кагану – всемирному генеральному секретарю ЦК КПСС, или чего там вместо КПСС! – покачиваясь, сошел с трибуны. Хотел было спуститься со сцены, но зал колыхнулся навстречу, отца подхватили на руки, понесли. Только проплывающие в воздухе нечищенные ботинки и увидел Леон.

Опустили в фойе. Откуда-то появились цветы. Отец оказался в цветах, как знаменитый оперный певец, писатель-сатирик или... покойник.

Леон с трудом пробился к нему, окруженному возбужденным партийно-костюмным народом.

Триумф, казалось, был полным. Отец эльфом (куда подевалась усталость?) летел к лестнице, раздаривая райкомовским женщинам цветы.

Однако Леона не оставляло ощущение, что радостный подъем, деятельное оживление, заряженность на немедленные действия – все это неестественно, неискренне, неконструктивно и бессмысленно, как сухой лед, извлеченный из ледника. И как сухой же лед, свистяще испаряющийся прямо на глазах, недолговечно. Как будто умирающий поднялся со смертного одра и двинулся куда-то, печатая шаг. Так было не из-за отца или райкомовских людей, а... по какой-то иной причине, над которой они не властны и пред которой бессильны.

Что бы ни делали.

По лестнице отец и Леон спускались в полном одиночестве.

– Поздравляю, – сказал Леон, когда сели в машину. – Лекция прошла успешно, – и зачем-то добавил: – Почти как Нагорная проповедь у Христа. В том смысле, что толку не будет никакого.

Отец недоверчиво повернул ключ зажигания. Мотор завелся с первой попытки.

Было около десяти часов вечера. В воздухе держалась светлая ясность. Две инверсионные самолетные полосы перечеркивали небо крест-накрест, заклеивали его, как окно в прифронтовом городе. А может, то были лямки рюкзака, в котором Господь Бог, подобно мешочнику, носил Нелидово по кругу, не зная, что с ним делать.

По-прежнему безлюдным оставалось Нелидово. Между партийным райкомом-горкомом и остальным Нелидовом как бы простерлась светлая воздушная пропасть. Единственную живую группу удалось разглядеть на боковой травяной улочке: цепочку солидных гусей, а позади определенно беспартийного, махорочно-морщинистого деда в мешках-штанах, с двустоволкой за ватным плечом.

Гостиница, куда их определили, была пока еще партийной, то есть в ухоженном, укромном (посреди хвойного парка) месте, с холлом в коврах и чистыми коридорами, но уже с наложенной рыночной лапой: из запыленного «БМВ» извлекал богатые кожаные чемоданы проезжий немец; по лестнице спускался, насвистывая, похабного вида золотозубый в перстнях то ли цыган, то ли грузин, явно бывший здесь как рыба в воде, хотя такое сравнение в высшей степени оскорбительно для рыбы; нелидовская проститутка в черных сетчатых чулках в упор рассматривала не то чтобы смущающегося, а как что-то бы прикидывающего в уме немца.

Рыночной (еще какой!) оказалась и цена за номер.

Вот только съестное никак не уживалось в регулируемом рынке, как будто невидимый регулировщик направлял съестное обочь рынка.

– Нет теперь у нас буфета, – зевнула отцу в лицо администраторша, – был, да закрыли, жрать нечего. Через парк – ресторан «Двина», до часу ночи оркестр.

– А выпить? – зачем-то спросил отец.

– «Камю», – цинично ухмыльнулась администраторша, – «Смирновская», баночное пиво.

Номер оказался удобным и просторным. Что было совершенно невероятно для советской (неважно, рублевой или валютной) гостиницы, исправно (без подтекающей воды) действовала сантехника. Рядом с окном стоял крепкий письменный стол. Имелся и низенький, так называемый журнальный, рябая столешница которого хранила главным образом следы стаканов и бутылок, но никак не журналов.

И не было надобности зажигать свет в номере, так как Господь Бог еще бродил с Нелидовом в рюкзаке по кругу, а в присутствии Господа всегда светло.

Едва они разложили на псевдожурнальном столике бутерброды с ветчиной, разрезанные и посоленные огурцы, конечно же, подавившиеся помидоры, сваренные вкрутую яйца, оплывшие, вспотевшие в полиэтилене равнобедренные треугольники сыра, едва Леон налил себе в стакан какого-то тягучего, с трудом покидающего бутылку сока, а отец, энергично потерев руки, как бы мгновенно и безводно их ополоснув, плеснул в свой стакан прозрачайшей «Посольской», в дверь постучали.

Замычав, отец отставил стакан, крикнул: «Да! Войдите!» – что можно было бы перевести с русского на русский как: «Нет! Не входите!» Но русские люди не большие мастера переводить с русского на русский. Тем более через дверь. Тем более такое слово, как «нет».

В номер вошел широкоплечий подполковник с красными петлицами мотострелка, тот самый, громче остальных аплодировавший отцу. Он и в зале показался Леону молодым, а вблизи предстал совершенным мальчишкой, не старше школьного русского физкультурника.

«Не слишком ли разбрасываются офицерскими званиями в нашей армии?» – подумал Леон.

– Извините, что отнимаю у вас время, – посмотрел на накрытый журнальный столик подполковник. – Собственно, я хотел переговорить с вами в райкоме.

– Присаживайся, пехота, – кивнул отец на пуфик. – Как ты думаешь, где здесь может быть еще один стакан?

– У меня вопрос, – не стал чиниться подполковник. – Только один, – улыбнулся, заметив, что отец помрачнел и насторожился. У него была открытая, располагающая улыбка. А сам он – с правильными чертами лица, голубоглазый, русоволосый, с ямочкой на крепком подбородке – вселял уверенность и спокойствие, как новенький исправный пистолет или автомат. То, что в России водились подобные подполковники, свидетельствовало, что не все в России безнадежно. – Есть стакан, – подполковник открыл портфель, достал самодельную, похожую на артиллерийский снаряд, флягу из нержавеющей стали, отвинтил, как в термосе, верх. – Какой офицер без стакана?

– За знакомство, – отец налил подполковнику «Посольской».

– Валериан, – поднялся подполковник, – можно без отчества.

– Будь здоров, Валериан!

– Будь здоров, Иван!

Чокнулись.

Выпили.

Выпив, подполковник посинел глазами, прояснился. Хотя и до того был синеглаз и ясен. Леон подумал, что вопрос, приведший его к отцу, не терпит промедления. Как не терпит промедления перевооружение армии новейшим стрелковым оружием.

– Ваня, – сказал подполковник. – У меня очень мало времени. Через двадцать минут, – посмотрел на часы, – заступаю на дежурство.

– Ты закуси, Валериан, – посоветовал отец.

– Сначала я задам вопрос, Ваня, – ответил подполковник, – потом мы еще по одной выпьем, и я поеду.

– Хорошо, – согласился отец. – Задавай свой вопрос, а я пока сделаю тебе бутерброд.

– То, что ты говорил, Ваня, безусловно, правильно. Ты говорил, как я бы сам говорил, если умел. Но я не умею. Кое с чем, конечно, я бы мог поспорить, но не в этом дело. По существу, Ваня, ты абсолютно уверен, что только так можно? И только так нужно?

Возникла пауза, во время которой погибли все земные звуки, растертое же инверсионными полосами-лямками небо-рюкзак привалилось к окну, как будто ходящий кругами Господь Бог вознамерился подслушать разговор ученого-марксиста и подполковника-мотострелка.

– Нет, – нарушил паузу отец. – Я в этом не уверен, Валериан. Скажу тебе как брату: я абсолютно уверен, что можно и нужно, что только в этом спасение, но я отдаю на волю тех, кто возьмется спасать, что именно можно и как именно нужно. Я всего лишь слабый духом теоретик, Валериан.

Голос отца звучал тихо и твердо. Леон никак не мог определить: свободопроницаем или нет его голос? Неужели существует что-то более, вернее, не менее значимое, нежели свобода? – удивился Леон. Если да, то именно об этом сейчас говорили отец и Валериан.

– Но ты бы мог допустить, Иван, – подполковник смотрел в упор на отца, и глаза его были в один цвет с вечерним небом, – что можно и нужно не то, о чем ты говорил в зале, а нечто совершенно противоположное?

Вероятно, он имеет в виду право русского народа, подумал Леон, жить как он хочет. Свобода – итог общественного развития, плод просвещенного разума, но право жить народа, как он считает нужным, выше? Дух Божий! – вдруг догадался Леон. Ему потребны бескрайние российские пространства, чтобы нестесненно носиться! Ему не нужны здесь ни густая, как в Китае, муравьиная жизнь, ни неумная, как в Америке, свобода. Потому-то Господь и выбрал для России третье, милое его сердцу, состояние тихого (а временами буйного) помешательства. Нежизнь и несвобода. То есть если жизнь – без радости. Если свобода – голодная, звероватая, чреватая. Выходит, подумал Леон, отец и Валериан хотят скорректировать Дух Божий; как будто Дух Божий – артиллерийская стрельба по русскому народу. Собственно, почему бы и нет? Кому на Руси корректировать Дух Божий, как не ученому-марксисту и офицеру-мотострелку?

– Я говорил, – внимательно посмотрел на Валериана отец, – о рыбаке, не в добрый час выходящем на рыбалку, а не о снасти, которую он берет с собой. Я благословлял действие, Валериан, а не сомнение. Слова же... – помрачнел, щедро плеснул в свой стеклянный и Валерианов нержавеющей стали стаканы водки. – Слова же, Валериан, всегда отыщутся. И для оправдания, и для осуждения. Только вот...

– Что «только вот»? – уточнил Валериан.

– Да не раз уж бывало в российской истории, – вздохнул отец. – И каждый раз впору было петь: «Все не так, ребята!» Если срывалось, еще туда-сюда, но если получалось – оказывалось неизмеримо хуже, чем было до. Это я говорю тебе, Валериан, как ученый.

– Ваня, – сказал подполковник, – это ответ на второй вопрос. А я его не задавал.

Некоторое время самозванные корректировщики Духа Божьего сидели молча. Тема была исчерпана. При чем как-то безнадежно и не к взаимному удовольствию. К тому же неумолимо подступало время Валерианова дежурства.

– Чуть не забыл, – Валериан опустил руку в портфель, достал литую черную, разделенную на два рога трубу. – Тебе на память, Иван.

– Мне? – недоуменно принял трубу отец. Неурочный светлый ночной луч скользнул по комнате.

Труба поймала его рогами-сечениями, моргнула красным.

– Танковый прицел, – объяснил Валериан, – на рыбалке, охоте полезная штука. И вообще. Ночного инфракрасного видения. Вот эту кнопку нажмешь и смотри. А как на звезды интересно!

У Леона забилося сердце. Ради такой вещи стоило жить. Знал бы он, что у него будет танковый прицел, ни за что бы не стал стреляться.

– Валериан, – растерялся отец, – право, не знаю. Наверное, это дорогая штука.

– Дорогая, – подтвердил Валериан, – но в Нелидове завод. Прицел идет здесь за литр самогона.

– Подожди, Валериан, – отец сунулся к водочному рюкзаку.

– Не суетись, Ваня, – Валериан поднял нержавеющей стали стакан. – Лучше выпьем за правду.

Отец, как репку из грядки, выдернул из рюкзака бутылку «Пшеничной». Другой рукой из сумки – книжку «КПСС – руководящая и направляющая сила перестройки», последнюю свою, ударно изданную несколько лет назад книжку. После нее издание книг у отца застопорилось.

– Да-да, за правду, – теперь он судорожно искал ручку, чтобы сделать надпись. – Она, конечно же, там, в электронном танковом прицеле ночного видения, наша русская правда, где ей еще быть? Вот только видят ее немногие. Черт, где же ручка?

– Скоро увидят все.

За сокрывшуюся в электронно-инфракрасно-оптических глубинах прицела ночного видения русскую правду решили выпить стоя.

Вне всяких сомнений, она была продуктом высочайшей технологии. Но при этом ее обменивали в Нелидове на литр самогона. Если допустить, что некоторые обмены происходили в ночи (когда же еще?) возле пролома в заборе, в кустах, в лесу, то легко можно было вообразить военно-заводского похитителя правды, отслеживающего в инфракрасный прицел крадущегося к условленному месту покупателя. А после – нового обладателя правды, провожающего в прицел уносящего за пазухой бутылку самогона довольного похитителя. Таким образом, в высокотехнологичное созерцание правды широко вливались вместе с самогоном первобытно-общинные меновые (рыночные?) отношения, что делало это самое содержание тайным и непостижимым, как случайный ночной пейзаж в прицеле инфракрасного видения.

Так вдруг посмотришь куда-нибудь, и одному Богу известно, что увидишь.

Отец и Валериан опустили пустые емкости на стол, глядя друг на друга зверски-дружественно.

– Мне пора, – сказал Валериан.

Отец долго думал, как надписать морально устаревшую книгу. Наконец придумал: «Валериану – русскому офицеру и другу».

– Спасибо, – серьезно произнес Валериан, – обязательно прочитаю. Прямо сегодня на дежурстве и начну.

– Не обязательно прямо сегодня, – смутился отец, – это, скорее, как память о прошедшей эпохе. Когда-нибудь.

– Разберемся, – протянул руку подполковник.

– Подожди, Валериан, – забеспокоился отец, – возьми «Пшеничную».

– «Пшеничную» не возьму, – твердо ответил Валериан. – Понимаю, – упредил отцовские упреки, – ты от чистого сердца, но честь офицера не позволяет уподобляться. А сей мерцающий в тумане сосуд, – кивнул на флягу, – тебе. Там спирт. Счастливо, Ваня. Спасибо за угощение. Бог даст, свидимся!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.